BY THE BEST-SELLING AUTHOR OF THE EARTHQUAKE



Copyrighted Material

# KURT VONNEGUT

# MOTHER NIGHT

"A SHAKING UP IN THE KALEIDOSCOPE OF LAUGHTER... READING VONNEGUT IS ADDICTIVE!" —*Commonweal*

Copyrighted Material

# Мать Тьма

## Курт Воннегут

Аннотация
Шпионами не рождаются. (предисловие В. Топорова)
Предисловие
От редактора
ПРИЗНАНИЯ
ГОВАРДА У. КЕМПБЭЛЛА-МЛАДШЕГО
Глава первая. Тиглатпаласар III…
Глава вторая. Особая команда…
Глава третья. Брикеты…
Глава четвертая. Кожаные ремни…
Глава пятая. Последняя полная мера…
Глава шестая. Чистилище…
Глава седьмая. Автобиография
Глава восьмая. Auf Wiedersehen…
Глава девятая. Те же и моя звездно-полосатая крестная…
Глава десятая. Романтика…
Глава одиннадцатая. Военные излишки…
Глава двенадцатая. Странные вещи в моем почтовом ящике…
Глава тринадцатая. Его преподобие доктор Лай-

онел Джейсон Дэвид Джонс, Д. С. Х., Д. Б. …
Глава четырнадцатая. Вид сверху в лестничный пролет…
Глава пятнадцатая. Машина времени…
Глава шестнадцатая. Хорошо сохранившаяся женщина…
Глава семнадцатая. Август Крапптауэр отправляется в Валгаллу…
Глава восемнадцатая. Прекрасная голубая ваза Вернера Нота…
Глава девятнадцатая. Маленькая Рези Нот…
Глава двадцатая. Вешательницы берлинского вешателя…
Глава двадцать первая. Мой лучший друг…
Глава двадцать вторая. Содержимое старого чемодана…
Глава двадцать третья. Глава шестьсот сорок три…
Глава двадцать четвертая. Полигамный казанова…
Глава двадцать пятая. Ответ коммунизму…
Глава двадцать шестая. В которой увековечены рядовой Ирвинг Буканон и некоторые другие…
Глава двадцать седьмая. Спасители – хранители…
Глава двадцать восьмая. Мишень…

Глава двадцать девятая. Адольф Эйхман и я…
Глава тридцатая. Дон Кихот…
Глава тридцать первая. Дело его живет…
Глава тридцать вторая. Розенфельд…
Глава тридцать третья. Коммунизм поднимает голову…
Глава тридцать четвертая. Alles kaput
Глава тридцать пятая. На сорок рублей дороже…
Глава тридцать шестая. Все, кроме визга…
Глава тридцать седьмая. Это старое золотое правило…
Глава тридцать восьмая. О, сладкое таинство жизни…
Глава тридцать девятая. Рези Нот откланивается…
Глава сороковая. Снова свобода…
Глава сорок первая. Химикалии…
Глава сорок вторая. Ни голубя, ни завета…
Глава сорок третья. Святой Георгий и дракон…
Глава сорок четвертая. «Кэм-буу»…
Глава сорок пятая. Черепаха и заяц…

## Аннотация

В романе Курта Воннегута «Мать Тьма» повествование идет от имени американского шпиона в фашистской Германии, где он работал на радио и в своих передачах настолько успешно зачитывал нацистскую антиеврейскую пропаганду, что в итоге по совершенным злодеяниям приравнялся к самому Гитлеру.

Он, Говард У. Кемпбэлл младший, в глубине своей души не был ни фашистом, ни американцем, ни кем-либо еще. Он был творческим человеком, поэтом. Он любил свою жену и более не хотел ничего в жизни. Но его ненавидели миллионы. Ненавидели так, что отдали бы жизнь за его смерть...

© creator, fantlab.ru

# Шпионами не рождаются (предисловие В. Топорова)

Повезло Штирлицу: до таких чинов в гитлеровской охранке дослужился, а рук не замарал. Праведной, во всяком случае, кровью. Или все-таки замарал? И, срывая переговоры о сепаратном германо-американском мире или торпедируя атомный проект третьего рейха, почитал себя наш доблестный Максим Максимович Исаев вправе не брезговать никакими, в том числе и самыми гнусными средствами? Или не было никакого штандартенфюрера СС Штирлица?

Ну, Штирлица-то, положим, может, и не было, но фантазия Юлиана Семенова разыгралась не на пустом месте. Шпионы у нас в нацистской Германии были. И не только в Германии. Знаменитая «лондонская пятерка» внедрилась в самое сердце британской разведки. И в самый мозг ее, на самый верх. Атомную бомбу мы у американцев после нескольких неудачных попыток все же ухитрились выкрасть. Перебежчиков из собственного стана неутомимо выслеживали и почти без осечек отстреливали. Или похищали.

А по некоторым зарубежным сведениям, поймав агента-невозвращенца из числа сотрудников НКВД/КГБ или ГРУ, сжигали его заживо и снимали сожжение на киноленту. И прокручивали эту ленту агентам, засылаемым «за бугор», так сказать, в острастку и в назидание. Интересно, опровергнет ли это бывший генерал Калугин?

Штирлица не было, а романов о нем полно. И анекдотов — тоже. И если роман можно высосать не только из архива КГБ, но и из пальца, то анекдоты, как известно, на пустом месте не появляются. Слишком уж глубокой, слишком уж зияющей выглядела пропасть между мерзкими западными шпионами и отважными советскими разведчиками. А методы у них были и, скорей всего, остаются совершенно одинаковыми. Подкуп, шантаж, убийство. Спекуляция на политических воззрениях того или иного простака. Вынесение всей и всяческой морали за скобки. Впрочем, коммунисты признают только классовую мораль, да и ту, как все в мире, считают относительной.

Но сделаем для полноты картины одно фантастическое допущение: Штирлицу удалось сместить или тайно устранить Гитлера и захватить власть в Германии, скажем, в начале 1945 г. Как поведет себя он? Или, верней, как придется

ему себя в таком случае повести?

Капитулирует перед союзниками? Этого не допустят генералы. Распустит нацистскую партию? Этого не допустит партаппарат. Запретит деятельность гестапо и других институтов подавления? Смешно и подумать. Введет многопартийность, назначит свободные выборы? Но какая же это будет — под контролем гестапо — многопартийность? Что это будут за выборы? Может быть, он приостановит уничтожение евреев в лагерях смерти? Это — пожалуй, но разве за тем мы его в Германию засылали?

Штирлиц начнет с кадровых перестановок в высшем партийном и армейском руководстве. На одни посты посадит кадровых советских разведчиков, таких же, как он сам, на другие, чтобы не возбуждать чрезмерных подозрений, — убежденных приверженцев войны и нацизма. Но и советские разведчики из его ближайшего окружения, в свою очередь, чтобы не оказаться разоблаченными, вынуждены будут строить из себя фанатиков рейха.

Штирлиц выпустит из концлагеря несколько десятков не уничтоженных еще коммунистов и представит это членам своего руководства как хитрый маневр, преследующий цель сбить с тол-

ку союзников и морально разложить их армии. Штирлиц велит Геббельсу ослабить контроль над средствами массовой информации, заявив, что верит в патриотизм немецкого народа, которому не страшна и самая горькая правда. Штирлиц официально провозгласит перевод части промышленности на мирные нужды в интересах германской нации и в то же время заверит генералов в том, что ничего подобного на самом деле не произойдет. Штирлиц постарается уверить нацистских бонз в том, что для достижения конечной победы необходимо в данный момент создать очеловеченный образ врага и прикажет поэтому запретить оголтелую антисоветскую и антиамериканскую пропаганду.

Правда, парочку-другую совершенно распоясавшихся писак ему придется при этом укоротить. Да и парочку-другую мирных демонстраций населения — подавить достаточно кроваво. Правда, и атомный проект надо будет теперь разрабатывать с показным рвением. И войскам отдавать самые решительные приказы. А войска-то ведь не поймут, что приказы эти не следует выполнять…

Но, главное, Штирлицу надо будет продолжать выполнять задания Москвы. А заданий таких в изменившейся ситуации будет два — и каждое из

них в отдельности вполне выполнимо. Первое: в любом случае удерживать захваченный пост, оставаться фюрером. Второе: добиться односторонней безоговорочной капитуляции Германии перед СССР. Беда только в том, что, выполняя первое, он ни в коем случае не сумеет выполнить второе. И наоборот. Фюрер Максим Максимович заболеет паранойей.

Так фантазирую я в духе Воннегута, в духе романа «Мать Тьма», который вам предстоит сейчас прочесть. Романа, на титул которого вынесено посвящение Мата Хари — знаменитой немецкой шпионке начала века, танцовщице и куртизанке, разоблаченной и казненной, и ставшей затем героиней бесчисленных литературных произведений и кинофильмов. В духе Воннегута — мрачного и блистательного остроумца, не верящего ни в кого и ни во что и, главное, — не верящего в человека. В духе Воннегута, запечатлевшего в романе «Бойня № 5» один из вариантов апокалипсиса наших дней, уже осуществившийся, и предостерегшего нас в романе «Колыбель для кошки» от апокалипсиса, который может настать буквально в любое мгновение — и уничтожить все человечество. Нет, не предостерегшего — в предостережения Воннегут тоже не верит. Хлад-

нокровно и с висельным юмором исследовавшего соответствующую возможность…

Разрыв между причиной и следствием, между целью и средствами, между субъективными намерениями и объективными результатами — ключевая проблема творчества Воннегута и главный источник его печалей. Человек предполагает, а Бог располагает? Но во вселенной Курта Воннегута нет Бога. Здесь властвует Случай или, верней, некая Отрицательная Закономерность, превращающая, вопреки теории вероятности, каждый случай в несчастный случай. Однако писатель не исповедует и той ереси, согласно которой в поединке между Добром и Злом победило Зло. По Воннегуту, в этом поединке победила Бессмыслица.

«Мать Тьму» нельзя назвать шпионским романом. Хотя это роман о шпионе. И написан он от лица шпиона. Широко распространено убеждение, согласно которому шпионами становятся люди авантюристического склада, находящие упоение в своем тайном бою и в двойном существовании. Такие, как Лоуренс Аравийский или уже упомянутая Мата Хари. Воннегут хладнокровно разрушает этот стереотип. Его Говард У. Кемпбэлл-младший — шпион поневоле. Недале-

кий и безобидный, в сущности, человек, волею Случая (или Бессмыслицы) вытащенный на арену мировой истории, где ему, уготована не самая блестящая роль.

Говард У. Кемпбэлл-младший — почти натурализовавшийся в Германии гражданин США — оказывается в годы нацизма завербован американской разведкой и получает от нее задание поступить на службу в министерство пропаганды к Геббельсу. Он становится радиокомментатором, специализирующимся на антисемитской агитации в редакции иновещания. Весь мир слушает яростные антиеврейские тирады и филиппики Кемпбэлла-младшего, и только двое или трое знают, что в текстах этих передач закодирована разведывательная информация для союзников. Евреи во всем мире ненавидят Кемпбэлла (много лет спустя его как важного нацистского преступника выкрадывает израильская разведка) — и только двое или трое знают, что он своей деятельностью способствует скорейшему крушению нацистского рейха. Такая вот ситуация.

Впрочем, и она нам не в новинку. Ведь и наши киновоенноплененные с ненавистью смотрят на штирлицев и всяческих там майоров вихрей, пока те в решительную минуту не откроются им,

как Иосиф Прекрасный онемевшим братьям. Но Воннегут не написал нам сладостно-щемящей картины узнавания и примирения. Прямо напротив. Потому что пропагандистом Говард У. Кемпбэлл-младший оказался блестящим — и долгое время после войны американские юдофобы с благодарностью вспоминают его радиопередачи. Именно эти передачи решающим образом сформировали их антисемитское мировоззрение. И еще не известно, кому принесла деятельность Кемпбэлла больше пользы, — американцам, которым он служил на самом деле, или нацистам, служба на которых была для него только шпионской «крышей». Ведь даже американская спецслужба отрекается от своего настолько замаранного агента.

Небольшой по объему, роман Воннегута плотно населен многочисленными персонажами. Здесь и шпионы (в том числе советский, почти непременный персонаж во многих произведениях писателя, до сих пор рукой осторожного редактора из переводов на русский язык безжалостно вымарывавшийся), и узники нацистских лагерей, пошедшие во имя личного спасения на пособничество с палачами, и чудаковато-страшноватые американские черносотенцы, и проповедники

негритюда, и правоверные нацисты, и американские патриоты. Воннегут, что вообще характерно для этого писателя, нащупывает множество болевых точек во времени и в пространстве и связывает их воедино: и изнасилование красноармейцами немки, депортированной в Крым (правда, это оказывается легендой советской разведчицы), и гибель американцев в войне с Японией, и — вольное и невольное — сотрудничество определенных сионистских кругов с Эйхманом. Нити перепутываются не в клубок даже, а в комок, — и здесь уже не различишь, кто прав, кто виноват, потому что виноваты все. И, может быть даже, все в равной мере. Трудно согласиться в этом отношении с писателем, но пишет он именно так. И об этом. Читать Воннегута смешно и горько, и все-таки в первую очередь горько. Но это горечь не яда, а сильного дезинфицирующего средства. Потому что, полагая мир и жизнь человеческую бессмысленными и безумными, Воннегут делает — нас умнее, а поступки наши более осмысленными. Более осознанными. Он глядит на нас со стороны — и под этим пристальным взглядом начинаешь вести себя чуть иначе.

Трагическая тема романа «Мать Тьма» — раз-

рыв между целью и средствами — освещена здесь уже достаточно. Но в романе есть и сатирическая тема, ведущая сатирическая тема (потому что и все остальное в нем предстает в гротескном сатирическом свете). Это тема патологического, физиологического антисемитизма, который здесь широко и разнообразно высмеивается. Что ж, дорого яичко к Христову дню. Антисемитизм порой бывает страшен, но, даже становясь страшным, он остается уморительно смешным, и Воннегут не забывает показать нам это.

Помню, двадцать с лишним лет назад, когда в издательстве «Молодая гвардия» вышел в урезанном и искаженном виде роман Воннегута «Колыбель для кошки», он не только имел бешеный успех, но и стал для многих своего рода откровением. По Боконону (так звали одного из персонажей, создателя новой религии) начали жить и думать. Это был, конечно, перебор. Воннегут — прежде всего парадоксалист, а творческая энергия парадокса, хотя и очень мощна, однако же не универсальна. Воннегут не заменяет и не отменяет всей остальной всемирной литературы, хотя некоторые воспринимают его именно так.

А писатель он замечательный, и перед вами один из лучших его романов.

*Виктор Топоров*

# Предисловие

*Посвящается Мата Хари*

*Где тот мертвец из мертвецов,*
*Чей разум глух для нежных слов:*
*«Вот милый край, страна родная!»*
*В чьем сердце не забрезжит свет,*
*Кто не вздохнет мечте в ответ,*
*Вновь после странствий многих лет*
*На почву родины вступая?*

***Вальтер Скотт***
***Перевод Т. Гнедич***

Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная, просто случилось так, что я ее знаю: мы как раз то, чем хотим казаться, и потому

должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться.

Мой опыт с нацистскими фокусами был ограничен. В моем родном городе Индианаполисе в тридцатые годы было некоторое количество мерзких и активных местных американских фашистов, и кто-то подсунул мне «Протоколы сионских мудрецов», которые считаются тайным еврейским планом захвата мира. Кроме того, я помню, как смеялись над моей тетушкой, которая вышла замуж за немецкого немца и которой пришлось запросить из Индианаполиса подтверждение, что в ней нет еврейской крови. Мэр Индианаполиса, знавший ее по средней школе и школе танцев, с удовольствием так разукрасил документы, затребованные немцами, лентами и печатями, что они напоминали мирный договор восемнадцатого века.

Вскоре началась война, я участвовал в ней и попал в плен, так что смог немного узнать Германию изнутри, пока еще шла война. Я был рядовым, батальонным разведчиком, и по условиям Женевской конвенции должен был работать, чтобы содержать себя, что было скорее хорошо, чем плохо. Я не должен был все время находиться в тюрьме где-то за городом. Я отправ-

лялся в город, это был Дрезден, и видел людей и что они делают.

В нашей рабочей бригаде нас было около сотни, мы работали по контракту на фабрике, изготовлявшей обогащенный витаминами сироп из солода для беременных. У него был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком. Он был очень вкусный. Мне даже и сейчас его хочется. А город был прекрасен, наряден, как Париж, и совершенно не тронут войной. Он считался как бы «открытым» городом и не должен был подвергаться бомбардировкам, потому что в нем не было ни скопления войск, ни военных заводов.

Но в ночь на 13 февраля 1945 года, примерно двадцать один год тому назад, на Дрезден посыпались фугасные бомбы с английских и американских самолетов. Их сбрасывали не на какие-то определенные цели. Расчет состоял в том, что они создадут много очагов пожара и загонят пожарных под землю.

А затем на пожарища посыпались сотни мелких зажигательных бомб, как зерна на свежевспаханную землю. Эти бомбы удерживали пожарников в укрытиях, и все маленькие очаги пожара разрастались, соединялись, превращались в апокалиптический огонь. Р-р-раз — и

огненная буря! Это была, кстати, величайшая бойня в истории Европы. Ну и что?

Нам не пришлось увидеть это море огня. Мы сидели в холодильнике под скотобойней вместе с нашими шестью охранниками и бесконечными рядами разделанных коровьих, свиных, лошадиных и бараньих туш. Мы слышали, как наверху падали бомбы. Временами кое-где сыпалась штукатурка. Если бы мы высунулись наверх посмотреть, мы бы сами превратились в результат огненного шторма: в обугленные головешки длиной в два-три фута — смехотворно маленьких человечков или, если хотите, в больших неуклюжих жареных кузнечиков.

Фабрика солодового сиропа исчезла. Все исчезло, остались только подвалы, где, словно пряничные человечки, испеклись 135000 Гензель и Гретель. Нас отправили в убежища откапывать тела сгоревших и выносить их наверх. И я увидел много разных типов германцев в том виде, в каком их застала смерть, обычно с пожитками на коленях. Родственники иногда наблюдали, как мы копаем. На них тоже было интересно смотреть.

Вот и все о нацистах и обо мне.

Если б я родился в Германии, я думаю, я был бы

нацистом, гонялся бы за евреями, цыганами и поляками, теряя сапоги в сугробах и согреваясь своим тайно добродетельным нутром. Такие дела.

Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории: если вы мертвы — вы мертвы.

И еще одна мораль открылась мне теперь: занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу.

*Айова-Сити, 1966 год*

# От редактора

При подготовке этого американского издания «Признаний Говарда У. Кемпбэлла-младшего» мне пришлось иметь дело с материалом, который следует рассматривать не только как простое изложение событий или, в зависимости от точки зрения, как попытку обмануть. Кемпбэлл был как лицом, обвинявшимся в тягчайших преступлениях, так и писателем, в свое время драматургом средней руки. Сказать, что он был писателем, значит утверждать, будто одних только требований искусства достаточно, чтобы заставить его лгать, и лгать, не видя в этом ничего дурного. Сказать, что он был драматургом, значит сделать еще более жесткое предостережение читателю, ибо нет искусней лжеца, чем человек, который превращает жизни и страсти в нечто столь гротескно искусственное, как театр.

И теперь, когда я сказал это о лжи, рискну выразить мнение, что ложь ради художественного эффекта — например, в театре или в признаниях Кемпбэлла — в более высоком смысле может быть наиболее интригующей формой правды.

Я не собираюсь отстаивать эту точку зрения. Задача издателя — никоим образом не полемика. Она состоит лишь в том, чтобы надлежащим образом довести до читателя признания Кемпбэлла.

Что касается моих собственных поправок к тексту, то их немного. Я исправил кое-какие ошибки в правописании, убрал несколько восклицательных знаков и ввел курсив.

В некоторых случаях я изменил имена, чтобы уберечь от смущения и неприятностей еще живых и ни в чем не повинных участников событий. Так, имена Бернарда Б. О'Хара, Гарольда Дж. Спэрроу и доктора Абрахама Эпштейна вымышлены. Вымышлены также личный армейский номер Спэрроу и название поста Американского легиона:[1] в Бруклайне нет поста Американского легиона имени Френсиса Х. Донована.

В одном месте Говард У. Кемпбэлл, наверное, точнее меня. Это место в главе двадцать второй, где Кемпбэлл цитирует три свои стихотворения по-английски и по-немецки. Английский вариант в его рукописи достаточно ясен. Немецкая

---

**[1] Примечания: 1**

*Американский легион* — организация ветеранов войны в США (создана в 1919 г.) с широко разветвленной сетью низовых организаций, называемых постами легиона. (Здесь и далее примечания переводчиков.)

же версия, которую Кемпбэлл воспроизвел по памяти, — неровная, местами неудобочитаемая из-за переделок. Кемпбэлл гордился тем, как он писал по-немецки, и был безразличен к своему английскому. Пытаясь оправдать эту гордость, он снова и снова переделывал немецкие варианты стихотворений, но явно, так и остался ими неудовлетворен.

Чтобы показать в этом издании, как эти стихи выглядели по-немецки, пришлось проделать кропотливую работу по их восстановлению. Эту работу — так сказать, воссоздание вазы из черепков — выполнила миссис Теодора Роули (Котуит, штат Массачусетс) — блестящий лингвист и весьма уважаемая поэтесса.

Я сделал существенные сокращения только в двух местах. В главе тридцать девятой я сделал сокращение по настоянию адвоката издательства. В оригинале в этой главе у Кемпбэлла один из Железных Гвардейцев Белых Сынов Американской Конституции кричит агенту ФБР: «Я — больше американец, чем вы. Мой отец сочинил „Я — день Америки“». По утверждению свидетелей, заявление это действительно было сделано, но, видимо, без достаточных оснований. Поэтому адвокат считал, что воспроизведение этого высказывания

может обидеть тех, кто действительно сочинил «Я — день Америки».

Вообще же, в той главе, как утверждают свидетели, Кемпбэлл чрезвычайно точен в воспроизведении сказанного. Так, все согласны, что предсмертные слова Рези Нот приведены слово в слово.

Другое сокращение я сделал в главе двадцать третьей, которая в оригинале порнографична. Я счел бы делом своей чести воспроизвести эту главу полностью, если бы не просьба Кемпбэлла прямо в тексте, чтобы редактор несколько выхолостил ее.

Название книги принадлежит Кемпбэллу. Оно взято из монолога Мефистофеля в «Фаусте» Гете, который приводится ниже в прозаическом переводе:

> Я часть части, которая вначале была всем, часть Тьмы, родившей свет, тот надменный свет, который теперь оспаривает у Матери Ночи ее давнее первенство и место, но, как ни старается, победить ее ему не удается, ибо, устремляясь вперед, он оседает на телах. Он струится с тел, он их украшает, но они преграждают ему

путь, и, я надеюсь, недалек тот час, когда он рухнет вместе с этими телами.

Посвящение тоже принадлежит Кемпбэллу. Вот что написал Кемпбэлл о посвящении в главе, которую потом изъял:

> Прежде чем вырисовывалась эта книга, я написал посвящение – «Мата Хари». Она проституировала в интересах шпионажа, тем же занимался и я. Теперь, когда книга уже видна, я предпочел бы посвятить ее кому-нибудь не столь экзотическому, не столь фантастическому и более современному – не столь похожему на персонаж немого кино. Я бы предпочел посвятить ее какому-нибудь знакомому лицу – мужчине или женщине, широко известному тем, что творил зло, говоря при этом себе: «Хороший я, настоящий я, я, созданный на небесах, – спрятан глубоко внутри».
>
> Я вспоминаю много таких людей, мог бы протараторить их имена на манер песен-скороговорок Гилберта и Сюллива-

на.[2] Но нет более подходящего имени, которому я мог бы действительно посвятить эту книгу, чем мое собственное. Поэтому позвольте, мне оказать себе эту честь: Эта книга перепосвящается Говарду У. Кемпбэллу-младшему, который служил злу слишком явно, а добру слишком тайно, – преступление его эпохи.

*Курт Воннегут-младший*

**[2] Примечания: 2**

*Гилберт Уильям С.* (1836–1911) — английский писатель-драматург. В числе прочих произведений написал серию либретто комических опер, сатирических куплетов, музыку к которым сочинял ирландский композитор Сюлливан Тимоти Д. (1827–1917).

# ПРИЗНАНИЯ ГОВАРДА У. КЕМПБЭЛЛА-МЛАДШЕГО

# Глава первая.
# Тиглатпаласар III...

Меня зовут Говард У. Кемпбэлл-младший.

Я американец по рождению, нацист по репутации, человек без национальности по склонностям.

Я пишу эту книгу в 1961 году.

Я адресую ее мистеру Товия Фридману, директору Института документации военных преступников в Хайфе, и всем тем, кого это может интересовать.

Почему эта книга может интересовать мистера Фридмана?

Потому, что ее пишет человек, подозреваемый в военных преступлениях. Мистер Фридман — специалист по таким людям. Он выразил страстное желание заполучить любые документы, которыми я мог бы пополнить его архивы нацистских злодеяний. Он так этого жаждал, что дал мне пишущую машинку, бесплатную стенографистку и возможность использовать научных консультантов, которые смогут откопать любые сведения, необходимые для пополнения и уточнения моих

материалов.

Я сижу за решеткой.

Я сижу за решеткой в прелестной новой тюрьме в старом Иерусалиме.

Я ожидаю справедливого суда государства Израиль за мои военные преступления.

Забавную пишущую машинку дал мне доктор Фридман, и подходящую к случаю. Машинка явно была сделана в Германии во время второй мировой войны. Откуда я это знаю? Очень просто: в ее клавиатуре есть символ, которого никогда не было до Третьего рейха и которого никогда не будет впредь. Этот символ — сдвоенная молния — употреблялся для обозначения СС — Schultzstaffeln,[3] — наводившего на всех ужас наиболее фанатичного крыла нацизма.

Я пользовался такой машинкой в Германии во время войны. Всегда, когда я писал о Schultzstaffeln, а я это делал часто и с энтузиазмом, я никогда не использовал аббревиатуру СС, а ударял по клавише с гораздо более устрашающими и магическими сдвоенными молниями.

Древняя история.

Я окружен здесь древней историей. Хотя тюрь-

---

**[3] Примечания: 3**

Schultzstaffeln (*нем.*) — охранные отряды.

ма, в которой я гнию, и новая, говорят, что некоторые камни в ее стенах вырублены еще во времена царя Соломона.

И порой, когда из окна своей камеры я смотрю на веселую и раскованную молодежь юной республики Израиль, мне кажется, что я и мои военные преступления такие же древние, как серые камни царя Соломона.

Как давно была эта война, эта вторая мировая война! Как давно были ее преступления!

Как это уже почти забыто даже евреями — то есть молодыми евреями.

Один из евреев, охраняющих меня здесь, ничего не знает об этой войне. Ему это не интересно. Его зовут Арнольд Маркс. У него очень рыжие волосы. Арнольду всего восемнадцать, а это значит, что ему было три года, когда умер Гитлер, и он еще на свет не родился, когда началась моя карьера военного преступника.

Он охраняет меня с шести утра до полудня.

Арнольд родился в Израиле. Он никогда не выезжал из Израиля. Его родители покинули Германию в начале тридцатых годов. Он рассказал мне, что его дед был награжден Железным крестом в первую мировую войну.

Арнольд учится на юриста. Арнольд и его отец-

оружейник страстно увлекаются археологией. Отец и сын проводят все свободное время на раскопках руин Хазора. Они работают там под руководством Игаля Ядана, который был начальником штаба израильской армии во время войны с арабами.

Пусть будет так.

Хазор, по словам Арнольда, город ханаанитов в Северной Палестине, существовал, по меньшей мере, за девятнадцать столетий до Рождества Христова. Примерно за четырнадцать столетий до Рождества Христова, говорил Арнольд, армия израильтян захватила Хазор и сожгла его, уничтожив все сорок тысяч жителей.

— Соломон восстановил город, — сказал Арнольд — но в 732 году до нашей эры Тиглатпаласар III снова сжег его.

— Кто? — спросил я.

— Тиглатпаласар III, ассириец, — сказал он, пытаясь подтолкнуть мою память.

— А… — сказал я. — Тот Тиглатпаласар…

— Вы говорите так, словно никогда о нем не слышали, — сказал Арнольд.

— Никогда, — ответил я и скромно пожал плечами. — Это, наверное, ужасно.

— Однако, — сказал Арнольд с гримасой школь-

ного учителя, — мне кажется, его следует знать каждому. Он, наверное, был самым выдающимся из ассирийцев.

— О… — произнес я.

— Если хотите, я принесу вам книгу о нем, — предложил Арнольд.

— Очень мило с вашей стороны, — ответил я. — Может быть, когда-нибудь я и доберусь до выдающихся ассирийцев, а сейчас мои мысли полностью заняты выдающимися немцами.

— Например? — спросил он.

— Я много думаю последнее время о моем прежнем шефе Пауле Иозефе Геббельсе, — отвечал я. Арнольд тупо посмотрел на меня.

— О ком? — переспросил он.

И я почувствовал, как подбирается и погребает меня под собой прах земли обетованной, и понял, какое толстое покрывало из пыли и камней в один прекрасный день навеки укроет меня. Я ощутил тридцати-сорокафутовые толщи разрушенных городов над собой, а под собой кучу древнего мусора, два-три храма и — Тиглатпаласар III.

## Глава вторая.
## Особая команда…

Охранник, сменяющий Арнольда Маркса каждый полдень, человек примерно моих лет, а мне сорок восемь. Он хорошо помнит войну, но не любит вспоминать о ней.

Его зовут Андор Гутман. Андор медлительный, не очень смышленый эстонский еврей. Он провел два года в лагере уничтожения в Освенциме. По его собственному неохотному признанию, он едва не вылетел дымом из трубы крематория: — Я как раз был назначен в Sonderkommando — рассказал он мне, — когда пришел приказ Гиммлера закрыть печи.

Sonderkommando означает — особая команда. В Освенциме это значило сверхособая команда — ее составляли из заключенных, обязанностью которых было загонять осужденных в газовые камеры, а затем вытаскивать оттуда их тела. Когда работа была окончена, уничтожались члены самой Sonderkommando. Их преемники начинали с удаления останков своих предшественников.

Гутман рассказывал, что многие добровольно

вызывались служить в Sonderkommando.

— Почему? — спросил я.

— Если бы вы написали книгу об этом и дали ответ на это «почему?» — получилась бы великая книга!

— А вы знаете ответ? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — вот почему я бы хорошо заплатил за книгу, которая ответила бы на этот вопрос.

— У вас есть предположения? — спросил я.

— Нет, — ответил он, глядя прямо в глаза, — хотя я был одним из добровольцев.

Признавшись в этом, он ненадолго ушел, думая об Освенциме, о котором меньше всего хотел думать. А затем вернулся и сказал:

— Всюду в лагере были громкоговорители, и они почти никогда не молчали. Было много музыки. Знатоки говорили, что это была хорошая музыка, иногда самая лучшая.

— Интересно, — сказал я.

— Только не было музыки, написанной евреями, это было запрещено.

— Естественно, — сказал я.

— Музыка обычно обрывалась в середине, и шло какое-нибудь объявление. И так весь день — музыка и объявления.

— Очень современно, — сказал я.

Он закрыл глаза, припоминая.

— Одно объявление всегда напевали наподобие детской песенки. Оно повторялось много раз в день. Это был вызов Sonderkommando.

— Да? — сказал я.

— Leichenträger zu Wache, — пропел он с закрытыми глазами. Перевод: «Уборщики трупов — на вахту». В заведении, целью которого было уничтожение человеческих существ миллионами, это звучало вполне естественно.

— Ну, а когда два года слушаешь по громкоговорителю этот призыв вперемежку с музыкой, вдруг начинает казаться, что положение уборщика трупов — совсем не плохая работа, — сказал мне Гутман.

— Я могу это понять, — сказал я.

— Можете? — Он покачал головой. — А я не могу. Мне всегда будет стыдно. Быть добровольцем Sonderkommando — это очень стыдно.

— Я так не думаю, — сказал я.

— А я думаю. Стыдно. И я больше никогда не хочу об этом говорить.

## Глава третья.
## Брикеты…

Охранник, сменяющий Андора Гутмана в шесть вечера, — Арпад Ковач.

Арпад — человек-фейерверк, шумный и веселый.

Вчера, придя на смену, он захотел посмотреть, что я уже написал. Я дал ему несколько страниц, и Арпад ходил взад-вперед по коридору, размахивая листками и всячески их расхваливая.

Он их не читал. Он расхваливал их за то, что, по его мнению, в них должно было быть.

— Дай это прочесть услужливым ублюдкам, этим тупым брикетам! — сказал он вчера вечером.

Брикетами он называл тех, кто с приходом нацистов ничего не сделал для спасения себя и других, кто готов был покорно пройти весь путь до газовых камер, если этого хотели нацисты.

Брикет, вообще-то, — блок спрессованной угольной крошки, идеально приспособленный для транспортировки, хранения и сжигания.

Арпад, столкнувшись с проблемами еврея в

нацистской Венгрии, не стал брикетом. Наоборот, Арпад добыл себе фальшивые документы и вступил в венгерскую СС.

Вот почему он симпатизировал мне.

— Объясни им, что должен делать человек, чтобы выжить. Что за честь быть брикетом? — сказал он мне вчера.

— Слышал ли ты когда-нибудь мои радиопередачи? — спросил я его. Сферой, где я совершал свои военные преступления, было радиовещание. Я был пропагандистом нацистского радио, хитрым и гнусным антисемитом.

— Нет, — ответил он.

Я показал ему текст одной из радиопередач, предоставленной мне институтом в Хайфе.

— Прочти, — сказал я.

— Мне незачем это читать, — ответил он. — Все говорили тогда одно и то же, снова, и снова, и снова.

— Все равно прочти, сделай одолжение.

Он стал читать, на его лице постепенно появлялась кислая мина. Возвращая мне текст, он сказал:

— Ты меня разочаровываешь.

— Да?

— Это так слабо! В этом нет ни основы, ни пер-

ца, ни изюминки. Я думал, ты мастер по части расовой брани.

— А разве нет?

— Если бы кто-нибудь из моей части СС так дружелюбно говорил о евреях, я приказал бы расстрелять его за измену! Геббельсу надо было уволить тебя и нанять меня как радиокарателя евреев. Я бы уж развернулся!

— Но ты ведь делал свое дело в своем отряде СС, — сказал я.

Арпад просиял, вспоминая свои дни в СС.

— Какого арийца я изображал! — сказал он.

— И никто тебя не заподозрил?

— Кто бы посмел? Я был таким чистым и устрашающим арийцем, что меня даже направили в особый отдел. Его целью было выяснить, откуда евреи всегда знают, что собирается предпринять СС. Где-то была утечка информации, и мы должны были пресечь ее. — Вспоминая это, он изображал на лице горечь и обиду, хотя именно он и был источником этой утечки.

— Справилось ли подразделение со своей задачей?

— Счастлив сказать, что четырнадцать эсэсовцев были расстреляны по нашему представлению. Сам Адольф Эйхман поздравлял нас.

— Ты с ним встречался?

— Да, но, к сожалению, я не знал тогда, какая он важная птица.

— Почему «к сожалению»?

— Я бы убил его.

## Глава четвертая.
## Кожаные ремни…

Бернард Менгель, польский еврей, охраняющий меня с полуночи до шести утра, тоже моих лет. Однажды он спас себе жизнь во время второй мировой войны, притворившись мертвым так здорово, что немецкий солдат вырвал у него три зуба, не заподозрив даже, что это не труп.

Солдат хотел заполучить три его золотых коронки.

Он их заполучил.

Менгель говорит, что здесь, в тюрьме, я сплю очень беспокойно, мечусь и разговариваю всю ночь напролет.

— Вы — единственный известный мне человек, которого мучают угрызения совести за содеянное им во время войны. Все другие, независимо от того, на чьей стороне они были и что делали, уверены, что порядочный человек не мог действовать иначе, — сказал мне сегодня утром Менгель.

— Почему вы думаете, что у меня совесть нечиста?

— По тому, как вы спите, какие сны вы видите. Даже Гесс не спал так. Он до самого конца спал, как святой.

Менгель имел в виду Рудольфа Франца Гесса, коменданта лагеря уничтожения Освенцим. Благодаря его нежным заботам миллионы евреев были уничтожены в газовых камерах. Менгель кое-что знал о Гессе. Перед эмиграцией в Израиль в 1947 году он помог повесить Гесса.

И он сделал это не с помощью свидетельских показаний. Он сделал это своими собственными огромными руками.

— Когда Гесса вешали, — рассказывал он, — я связал ему ноги ремнями и накрепко стянул.

— Вы получили удовлетворение? — спросил я.

— Нет, — ответил он, — я был почти как все, прошедшие эту войну.

— Что вы имеете в виду?

— Мне так досталось, что я уже ничего не мог чувствовать, — сказал Менгель. — Всякую работу надо было делать, и любая работа была не хуже и не лучше другой. После того как мы повесили Гесса, — сказал Менгель, — я собрал свои вещи, чтобы ехать домой. У моего чемодана сломался замок, и я закрыл его, стянув большим кожаным ремнем. Дважды в течение часа я выполнил

одну и ту же работу — один раз с Гессом, другой — с моим чемоданом. Ощущение было почти одинаковое.

## Глава пятая.
## Последняя полная мера…

Я тоже знал Рудольфа Гесса, коменданта Освенцима. Мы познакомились в Варшаве на встрече Нового, 1944 года.

Гесс слышал, что я писатель. Он отвел меня в сторону я сказал, что тоже хотел бы писать.

— Как я завидую вам, творческим людям, — сказал он. — Способность к творчеству — дар Божий. — Гесс говорил, что мог бы рассказать потрясающие истории. Все они — чистая правда, но людям будет невозможно в них поверить.

Он не может мне их рассказать, говорил он, пока не выиграна война. После войны, сказал он, мы могли бы сотрудничать.

— Я умею рассказывать, но не умею писать. — Он посмотрел на меня, ожидая сочувствия. — Когда я сажусь писать, я просто леденею.

Что я делал в Варшаве?

Меня послал туда мой шеф, рейхслайтер доктор Пауль Иозеф Геббельс, глава германского министерства народного просвещения и пропаганды. Я имел некоторый опыт как драматург, и доктор

Геббельс хотел, чтобы я это использовал. Доктор Геббельс хотел, чтобы я написал сценарий помпезного представления в честь немецких солдат, до конца продемонстрировавших полную меру своей преданности, то есть погибших при подавлении восстания евреев в варшавском гетто. Доктор Геббельс мечтал после войны ежегодно показывать это представление в Варшаве и навеки сохранить руины гетто как декорации для этого спектакля.

— А евреи будут участвовать в представлении? — спросил я его.

— Конечно, тысячи, — отвечал он.

— Позвольте спросить, где вы предполагаете найти каких-нибудь евреев после войны?

Он углядел в этом юмор.

— Очень хороший вопрос, — сказал он, хихикнув. — Это надо будет обсудить с Гессом.

— С кем? — спросил я. Я еще не бывал в Варшаве и еще не был знаком с братцем Гессом.

— В его ведении небольшой курорт для евреев в Польше. Надо попросить его сохранить для нас некоторое количество.

Можно ли сочинение этого жуткого сценария добавить к списку моих военных преступлений? Слава богу, нет. Оно не продвинулось дальше

предварительного названия: «Последняя полная мера».

Я хочу, однако, признать, что я, вероятно, написал бы его, если бы имел достаточно времени и если бы мое начальство оказало на меня достаточное давление.

В сущности, я готов признать почти все что угодно.

Относительно этого сценария: он имел неожиданный результат. Он привлек внимание самого Геббельса, а затем и самого Гитлера к Геттисбергской речи Авраама Линкольна.[4]

Геббельс спросил меня, откуда я взял предварительное название, и я сделал для него полный перевод Геттисбергской речи. Он читал, шевеля губами.

— Знаете, это блестящий пример пропаганды. Мы не так современны и не так далеко ушли от прошлого, как нам кажется.

— Это знаменитая речь в моей родной стране. Каждый школьник должен выучить ее наизусть, — сказал я.

---

**[4] Примечания: 4**

*Геттисбергская речь* произнесена Линкольном в 1863 году на церемонии открытия национального кладбища в Геттисберге, вблизи места, где произошло одно из решающих сражений Гражданской войны в Америке. В ней содержится и линкольновское определение демократии: «правительство народа, из народа, для народа».

— Вы скучаете по Америке? — спросил он.

— Я скучаю по ее горам, рекам, широким долинам и лесам, — сказал я. — Но я никогда не был бы счастлив там, где всем заправляют евреи.

— О них позаботятся в свое время, — сказал Геббельс.

— Я с нетерпением жду этого дня. Моя жена и я — мы с нетерпением ждем этого дня, — сказал я.

— Как поживает ваша жена? — спросил Геббельс.

— Благодарю вас, процветает, — сказал я.

— Красивая женщина, — сказал он.

— Я ей передам это, ей будет чрезвычайно приятно.

— Относительно речи Авраама Линкольна… — сказал он.

— Да?

— Там есть впечатляющие фразы, которые можно прекрасно использовать в надписях на могильных плитах на немецких военных кладбищах. Честно говоря, я совершенно не удовлетворен нашим надгробным красноречием, а это, кажется, как раз то, что я давно ищу. Я бы очень хотел послать эту речь Гитлеру.

— Как прикажете, — сказал я.

— Надеюсь, Линкольн не был евреем? — спро-

сил Геббельс.

— Я уверен, что нет.

— Я попал бы в очень неловкое положение, если бы он оказался евреем.

— Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь это предполагал.

— Имя Авраам само по себе очень подозрительно, — сказал Геббельс.

— Его родители наверняка не сознавали, что это еврейское имя. Им, вероятно, просто понравилось его звучание. Это были простые люди из глуши. Если бы они знали, что это еврейское имя, они выбрали бы что-нибудь более американское, вроде Джорджа, Стэнли или Фрэда.

Через две недели Геттисбергская речь вернулась от Гитлера. Наверху рукой самого der Fuehrer было начертано: «Некоторые места чуть не заставили меня плакать. Все северные народы едины в своих чувствах к своим солдатам. Это, очевидно, связывает нас крепче всего».

Странно, мне никогда не снились ни Гитлер, ни Геббельс, ни Гесс, ни Геринг, никто из других кошмарных деятелей мировой войны за номером два. Наоборот, мне снятся женщины.

Я спросил Бернарда Менгеля, моего ночного сторожа здесь, в Иерусалиме, что, по его мнению,

я вижу в снах.

— Что вам снилось прошлой ночью? — спросил он.

— Все равно какой.

— Прошлой ночью это были женщины. Вы снова и снова повторяли два имени.

— Какие?

— Одно — Хельга.

— Это моя жена.

— Другое — Рези.

— Это младшая сестра моей жены. Только имена, и все?

— Вы сказали: «Прощайте».

— Прощайте, — отозвался я. — Это, конечно, имело смысл и во сне и наяву. И Хельга и Рези — обе ушли навсегда.

— Еще вы говорили о Нью-Йорке, — сказал Менгель. — Вы бормотали что-то, затем сказали: «Нью-Йорк», а потом снова забормотали.

Это тоже имело смысл, как и большая часть того, что я вижу во сне. Я долгое время жил в Нью-Йорке, прежде чем попал в Израиль.

— Нью-Йорк, должно быть, рай, — сказал Менгель.

— Для вас, может быть. Для меня он был адом, даже хуже ада.

— Что может быть хуже ада? — спросил он.
— Чистилище, — ответил я.

## Глава шестая.
## Чистилище…

О моем чистилище в Нью-Йорке: я пребывал там пятнадцать лет.

Я исчез из Германии в конце второй мировой войны. И возник неузнанный в Гринвич Вилледж. Я снял там унылую мансарду, в стенах которой скреблись и пищали крысы. Я продолжал жить в этой мансарде, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда.

Было одно достоинство у моей крысиной мансарды: ее заднее окно выходило в маленький уединенный садик, маленький рай, образованный соседними задними дворами. Этот садик, этот рай, был со всех сторон отгорожен от улицы домами. Он был достаточно велик, чтобы дети могли играть там в прятки.

Я часто слышал из этого маленького рая певучий детский голосок, который всегда заставлял меня остановиться и прислушаться. Это был мелодичный печальный зов, означавший, что игра кончилась, что те, кто еще прячется, могут вылезать, и пора расходиться по домам:

«Олле-олле-бык-на-воле».

И я, прячущийся от многих, тех, кто, возможно, хотел причинить мне неприятности или даже убить меня, часто мечтал, чтобы кто-нибудь прекратил эту мою бесконечную игру в прятки мелодичным и печальным зовом:

«Олле-олле-бык-на-воле».

## Глава седьмая.
## Автобиография

Я, Говард У. Кемпбэлл-младший, родился в Скенектеди, штат Нью-Йорк, 16 февраля 1912 года. Мой отец, выросший в Теннесси, сын баптистского священника, был инженером в отделе обслуживания компании Дженерал электрик.

Задачей отдела был монтаж, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, которое Дженерал электрик продавала по всему миру. Мой отец, объекты которого были сначала только в Соединенных Штатах, редко бывал дома. Его работа требовала таких разнообразных технических знаний и смекалки, что у него не оставалось ни свободного времени, ни воображения ни для чего другого. Он был создан для работы, а работа для него.

Единственная не техническая книга, за которой я его видел, была иллюстрированная история первой мировой войны. Это была большая книга с иллюстрациями размером фут на полтора. Отцу, казалось, никогда не надоедало рассматривать ее, хотя он и не был на войне.

Он никогда не говорил мне, что эта книга значила для него, а я никогда не спрашивал. Он только сказал о ней, что она не для детей и я не должен заглядывать в нее.

Поэтому, конечно, всякий раз, оставаясь один, я в нее заглядывал. Здесь были изображения людей, повисших на колючей проволоке, искалеченных женщин, штабеля трупов — все обычные атрибуты мировых войн.

Моя мать, в девичестве Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианаполиса. Она вела домашнее хозяйство и была виолончелисткой-любительницей. Она играла на виолончели в скенектедском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже играл на виолончели.

Из меня не вышло виолончелиста, мне, как и отцу, медведь на ухо наступил.

У меня не было братьев и сестер, а отец редко бывал дома. Поэтому в течение многих лет я был единственным компаньоном матери. Она была красивой, одаренной, болезненной женщиной. Мне кажется, что она была постоянно пьяна. Я помню, как она однажды смешала в блюдце спирт для натирания с солью. Она поставила блюдце на кухонный стол, погасила свет и посадила меня

напротив. Затем она коснулась смеси спичкой. Пламя было совершенно желтое, натриевое, в нем она выглядела как труп, и я тоже.

— Смотри, — сказала она, — как мы будем выглядеть, когда умрем.

Этот дикий спектакль испугал не только меня, но и ее. Она была напугана своей странной выходкой, с тех пор я перестал быть ее компаньоном. С тех пор она со мной почти не разговаривала и полностью меня избегала, очевидно, из боязни сказать или сделать что-нибудь еще более безумное.

Все это произошло в Скенектеди, когда мне еще не было десяти лет.

В 1923 году, когда мне было одиннадцать, отца перевели в Германию, в отделение Дженерал электрик в Берлине. С этого времени мое образование, мои друзья, мой основной язык были немецкими.

В конце концов я стал писать пьесы на немецком языке, женился на немке, актрисе Хельге Нот. Хельга Нот была старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции.

Мои родители покинули Германию в 1939-м, когда началась война.

Мы с женой остались.

Я зарабатывал на жизнь вплоть до окончания войны в 1945 году как автор и диктор нацистских пропагандистских передач на англоязычные страны. Я был ведущим эскпертом по Америке в министерстве народного просвещения и пропаганды.

В конце войны я оказался одним из первых в списке военных преступников, главным образом потому, что мои преступления совершались так бесстыдно открыто.

Меня взял в плен лейтенант Третьей американской армии Бернард О'Хара около Херсфельда 12 апреля 1945 года. Я был на мотоцикле, без оружия, и хотя я имел право носить форму, голубую с золотом, я не был в форме. Я был в штатском, в синем саржевом костюме и изъеденном молью пальто с меховым воротником.

Случилось так, что Третья армия как раз за два дня до этого захватила Ордруф, первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня привезли туда, заставили смотреть на все это: на засыпанные известью рвы, виселицы, столбы для порки, на горы обезображенных, покрытых струпьями трупов с вылезшими из орбит глазами.

Они хотели показать мне, к чему привела моя

деятельность.

На виселицах в Ордруфе можно было повесить одновременно шестерых. Когда я увидел виселицы, на каждой веревке болталось по охраннику. Следовало ожидать, что и я скоро тоже буду повешен. Я сам этого ожидал и с интересом наблюдал, как мирно шесть охранников висят на своих веревках.

Они умерли быстро.

Когда я смотрел на виселицу, меня сфотографировали. Позади меня стоял лейтенант О'Хара, поджарый, как молодой волк, полный ненависти, как гремучая змея.

Фотография была помещена на обложке «Лайф» и чуть не получила Пулитцеровскую премию.

## Глава восьмая.
## Auf Wiedersehen...

Я не был повешен.

Я совершил государственную измену, преступления против человечности и преступления против собственной совести, но до сего дня я оставался безнаказанным.

Я остался безнаказанным потому, что в течение всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии.

Код заключался в некоторой манерности речи, паузах, ударениях, в покашливании и даже в запинках в определенных ключевых предложениях. Люди, которых я никогда не видел, давали мне инструкции, сообщали, в каких фразах радиопередачи следует употреблять эти приемы. Я до сих пор не знаю, какая информация шла через меня. Судя по простоте большинства этих инструкций, я сделал вывод, что даю ответы «да» или «нет» на вопросы, поставленные перед шпионской службой. Иногда, как, например, во время подготовки к вторжению в Нормандию,

инструкции усложнялись, и мои интонации и дикция звучали так, словно я на последней стадии двухсторонней пневмонии.

Такова была моя полезность в деле союзников.

И эта полезность спасла мне шею.

Меня обеспечили прикрытием. Я никогда не был официально признан американским агентом, просто дело против меня по обвинению в измене саботировали. Меня освободили на основании никогда не существовавших документов о моем гражданстве, и мне помогли исчезнуть.

Я приехал в Нью-Йорк под вымышленным именем. Я, как говорится, начал новую жизнь в моей крысиной мансарде с видом на уединенный садик.

Меня оставили в покое, настолько в покое, что через некоторое время я смог вернуть свое собственное имя, и почти никто не подозревал, что я — тот Говард У. Кемпбэлл-младший.

Время от времени в газетах и журналах я встречал свое имя, но не как сколько-нибудь важной персоны, а как одного из длинного списка исчезнувших военных преступников. Слухи обо мне появлялись то в Иране, то в Аргентине, то в Ирландии… Говорили, что израильские агенты рыскают в поисках меня повсюду.

Как бы то ни было, но ни один агент ни разу не постучал в мою дверь. Никто не постучал в мою дверь, хотя на моем почтовом ящике каждый мог прочесть Говард У. Кемпбэлл-младший.

Вплоть до самого конца моего пребывания в чистилище в Гринвич Вилледж меня чуть было не обнаружили один-единственный раз, когда я обратился за помощью к врачу-еврею в моем же доме. У меня нагноился палец.

Врача звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на третьем этаже. Они только что въехали в наш дом.

Я назвал свое имя. Оно ничего не говорило ему, но что-то напомнило его матери. Эпштейн был молод, он только что кончил медицинский факультет. Его мать была грузная, морщинистая, медлительная и печальная старуха с настороженным взглядом.

— Это очень известное имя, вы должны его знать, — сказала она.

— Простите? — сказал я.

— Вы не знаете кого-нибудь еще по имени Говард У. Кемпбэлл-младший? — спросила она.

— Я думаю, что таких немало, — ответил я.

— Сколько вам лет?

Я сказал.

— В таком случае, вы должны помнить войну.

— Забудь войну, — ласково, но достаточно твердо сказал ей сын. Он забинтовал мне палец.

— И вы никогда не слышали радиопередач Говарда У. Кемпбэлла-младшего из Берлина? — спросила она.

— Да, теперь я вспомнил. Я забыл. Это было так давно. Я никогда не слушал его, но припоминаю, что он передавал последние известия. Такие вещи забываются, — сказал я.

— Их надо забывать, — сказал молодой доктор Эпштейн. — Они относятся к тому безумному периоду, который нужно забыть как можно скорее.

— Освенцим, — сказала его мать.

— Забудь Освенцим, — сказал доктор Эпштейн.

— Вы знаете, что такое Освенцим? — спросила его мать.

— Да, — ответил я.

— Там я провела свои молодые годы, а мой сын, доктор, провел свое детство.

— Я никогда не думаю об этом, — сказал доктор Эпштейн резко. — Палец через несколько дней заживет. Держите его в тепле и сухим. — И он подтолкнул меня к двери.

— Sprechen Sie Deutsch? — спросила меня его мать, когда я уходил.

— Простите? — ответил я.

— Я спросила, не говорите ли вы по-немецки?

— О, — сказал я, — нет, боюсь, что нет. — Я неуверенно произнес: «Nein?» — Это значит «нет»? Не так ли?

— Очень хорошо, — сказала она.

— Auf Wiedersehen — это «до свиданья», да? — сказал я.

— До скорой встречи, — ответила она.

— О, в таком случае, Auf Wiedersehen, — сказал я.

— Auf Wiedersehen, — сказала она.

## Глава девятая.
## Те же и моя звездно-полосатая крестная…

Меня завербовали в качестве американского агента в 1939 году, за три года до вступления Америки в войну. Меня завербовали весенним днем в Тиргартене в Берлине.

Месяц назад я женился на Хельге Нот. Мне было двадцать шесть.

Я был весьма преуспевающим драматургом и писал на языке, на котором я пишу лучше всего, — на немецком. Одна моя пьеса, «Кубок», шла в Дрездене и в Берлине. Другая, «Снежная роза», готовилась к постановке в Берлине. Я как раз кончил третью — «Семьдесят раз по семь». Все три пьесы были в духе средневековых романов и имели такое же отношение к политике, как шоколадные éclairs.

В этот солнечный день я сидел в пустом парке на скамейке и думал о четвертой пьесе, которая начала складываться в моей голове. Само собой появилось название “Das Reich der Zwei” — «Государство двоих».

Это должна была быть пьеса о нашей с Хельгой любви. О том, что в безумном мире двое любящих могут выжить и сохранить свое чувство, только если они остаются верными государству, состоящему из них самих, — государству двоих.

На скамейку напротив сел американец средних лет. Он казался глуповатым болтуном. Он развязал шнурки ботинок, чтобы отдыхали ноги, и принялся читать чикагскую «Санди трибюн» месячной давности.

На аллее, разделявшей нас, появились три статных офицера СС.

Когда они прошли мимо, человек отложил газету и заговорил со мной на гнусавом чикагском диалекте.

— Красивые мужчины, — сказал он.

— Пожалуй, — ответил я.

— Вы понимаете по-английски? — спросил он.

— Да.

— Слава богу, нашелся человек, понимающий по-английски. А то я чуть было не спятил, пытаясь найти, с кем бы поговорить.

— Вот как?

— Что вы думаете обо всем этом? — спросил он. — Или считается, что надо обходить такие вопросы?

— О чем «об этом»? — спросил я.

— О том, что творится в Германии. Гитлер, евреи и все такое.

— Все это от меня не зависит, и я об этом не думаю, — ответил я.

— Это не ваш навар?

— Простите? — сказал я.

— Не ваше дело?

— Вот именно.

— Вы не поняли, когда я сказал навар вместо дело? — спросил он.

— Разве это обычное выражение? — спросил я.

— В Америке — да. Не возражаете, если я пересяду, чтобы не кричать,

— Если угодно, — сказал я.

— Если угодно, — повторил он, пересаживаясь на мою скамью. — Так мог бы сказать англичанин.

— Американец, — сказал я.

Он поднял брови.

— Неужели? Я пытался отгадать, не американец ли вы, но решил, что нет.

— Благодарю, — сказал я.

— Вы считаете, что это комплимент, и поэтому сказали «благодарю»? — сказал он.

— Не комплимент, но и не оскорбление. Просто

мне это безразлично. Национальность просто не интересует меня, как, наверное, должна была бы интересовать.

Казалось, это его озадачило.

— Хоть это меня и не касается, но чем вы зарабатываете себе на жизнь? — сказал он.

— Я писатель, — сказал я.

— Неужели? Какое совпадение! Я как раз сидел здесь и думал: из того, что вертится у меня в голове, можно было бы написать неплохую шпионскую историю.

— Вот как? — сказал я.

— Я могу подарить ее вам, — сказал он. — Я никогда ее не напишу.

— Мне бы справиться с собственными планами, — сказал я.

— Да, но со временем вы можете истощиться, и тогда вам пригодится этот мой сюжет, — сказал он. — Понимаете; есть молодой американец, который так долго жил в Германии, что практически стал немцем. Он пишет пьесы на немецком, женат на прелестной актрисе-немке, знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые любят болтаться в театральных кругах. — И он пробубнил несколько имен нацистов — более значительных и помельче, которых мы

с Хельгой прекрасно знали.

Не то чтобы мы с Хельгой были без ума от нацистов. Но и не могу сказать, что мы их ненавидели. Они были наиболее восторженной частью нашей публики, важными людьми общества, в котором мы жили.

Они были людьми.

Только ретроспективно я могу думать, что они оставили за собой страшный след.

Честно говоря, я и сейчас не могу так о них думать. Я слишком хорошо знал их и слишком много сил положил в свое время на то, чтобы завоевать их доверие и аплодисменты.

Слишком много.

Аминь.

Слишком много.

— Кто вы? — спросил я у человека в парке.

— Разрешите мне сначала кончить мой рассказ, — сказал он. — Этот молодой человек знает, что надвигается война, понимает, что немцы будут на одной стороне, а американцы на другой. И этот американец, который до сих пор был просто вежлив с нацистами, решает сделать вид, что он сам нацист, остается в Германии, когда начинается война, и становится очень полезным американским шпионом.

— Вы знаете, кто я? — спросил я.

— Конечно, — сказал он. Он вынул бумажник и показал мне удостоверение Военного ведомства Соединенных Штатов на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения.

— Вот кто я, — сказал Фрэнк Виртанен. — Я предлагаю вам стать агентом американской разведки, мистер Кемпбэлл.

— О боже, — сказал я с раздражением и обреченностью. Я весь поник. Потом я снова выпрямился и произнес: — Смешно. Нет, черт возьми, нет.

— Ладно, — сказал он. — Я не особенно огорчен, ведь вы дадите мне окончательный ответ не сегодня.

— Если вы воображаете, что я пойду сейчас домой, чтобы это обдумать, вы ошибаетесь. Домой я пойду, чтобы вкусно поесть с моей очаровательной женой, послушать музыку, заняться с женой любовью, а потом спать как убитый. Я не солдат, не политик. Я человек искусства. Если придет война, я ей не помощник. Если придет война, я буду продолжать заниматься своим мирным делом.

Он покачал головой.

— Я желаю вам всего самого лучшего, мистер Кемпбэлл, — сказал он, — но эта война вряд ли

кого-нибудь оставит за мирным делом. И как ни грустно, но я должен сказать, что чем ужаснее будут дела нацистов, тем меньше у вас будет шансов спать по ночам как убитый.

— Посмотрим, — натянуто сказал я.

— Правильно, посмотрим, — сказал он. — Вот почему я сказал, что вы дадите мне окончательный ответ не сегодня. Вы должны дойти до него сами. Если вы решите ответить «да», вам надо будет действовать совершенно самостоятельно, сотрудничать с нацистами, стремясь добиться как можно более высокого положения.

— Прелестно! — сказал я.

— Да, в этом есть своя прелесть, — сказал он. — Вы должны стать настоящим героем, в сотни раз храбрее любого обыкновенного человека.

Тощий генерал вермахта и толстый штатский с портфелем шли мимо нас, возбужденно разговаривая.

— Здрасьте, — сказал им дружелюбно майор Виртанен. Они высокомерно фыркнули и прошли дальше.

— С началом войны вы добровольно пойдете на то, что вы конченый человек. Даже если вас не схватят во время войны, вы обнаружите, что ваша репутация погибла и вообще вам не осталось

ради чего жить.

— Вы описали все это очень заманчиво, — сказал я.

— Я думаю, есть шанс сделать это заманчивым для вас, — сказал он. — Я видел пьесу, которую вы сейчас поставили, и читал другую, которую собираетесь ставить.

— Да? И что вы из них узнали?

Он улыбнулся.

— Что вы обожаете чистые сердца и героев, что вы любите добро, ненавидите зло и верите в романтику.

Он не назвал главной причины, по которой можно было ожидать, что я пойду по этому пути и стану шпионом. Главная причина в том, что я бездарный актер. А как шпион такого сорта, о котором шла речь, я имел бы великолепную возможность играть главные роли. Я должен был, блестяще играя нациста, одурачить всю Германию, и не только ее.

И я действительно всех одурачил. Я стал вести себя как человек из окружения Гитлера, и никто не знал, каков я на самом деле, что у меня глубоко внутри.

Могу ли я доказать, что я был американским шпионом? Главное свидетельство тому — моя

невредимая лилейно-белая шея. И это единственное свидетельство, которое у меня есть. Те, кто обязан доказать мою виновность или невиновность в преступлениях против человечности, приглашаются тщательно ее обследовать.

Правительство Соединенных Штатов не подтверждает и не отрицает, что я был его агентом. Не так уж и много, что оно не отрицает такой возможности. Однако оно тут же отнимает у меня эту зацепку, отрицая, что человек по имени Фрэнк Виртанен вообще когда-нибудь служил в каком-нибудь правительственном учреждении. Никто, кроме меня, не верит в его существование. Поэтому я в дальнейшем часто буду называть его Моей Звездно-Полосатой Крестной. Среди многого, что поведала мне Моя Звездно-Полосатая Крестная, были пароль и ответ, по которым я мог опознать своих связных, а они меня, если начнется война.

Пароль был: «Ищи новых друзей».

Ответ: «Но старых не забудь».

Мой здешний адвокат — ученый-юрист господин Алвин Добровитц. Он, в отличие от меня, вырос в Америке. Мистер Добровитц сказал мне, что пароль и ответ — часть песни идеалистической организации американских девушек,

которая из-за цвета своей формы называется «Коричневые».

Полностью этот куплет, по словам Добровитца, звучит так:

*Ищи новых друзей,*
*Но старых не забудь.*
*Помни – старый друг*
*Лучше новых двух.*

## Глава десятая.
## Романтика...

Моя жена никогда не знала, что я шпион.

Я бы ничего не потерял, рассказав ей об этом. Это не заставило бы ее любить меня меньше. И не грозило бы мне никакой опасностью. Просто божественный мир моей Хельги, эта Книга Откровений, стал бы казаться, обыденным.

Войны и без того было достаточно.

Хельга считала, что я верю в ту чепуху, которую говорю по радио и говорю на приемах. Мы постоянно бывали на приемах.

Мы были очень популярной парой, веселой и патриотичной. Люди обычно говорили, что мы их ободряем, вызываем желание действовать. И Хельга тоже не шла через войну просто разряженной дамочкой. Она выступала в частях, часто под грохот вражеских орудий.

Вражеских? Чьих-то орудий, во всяком случае.

Вот так я ее и потерял. Она выступала в частях в Крыму, а в это время русские отбили Крым, Хельга считалась погибшей.

После войны я заплатил круглую сумму частно-

му детективному агентству в Западном Берлине, чтобы обнаружить хоть малейший ее след. Результат: ноль. Моим условием агентству был гонорар в десять тысяч долларов за неопровержимое доказательство того, что моя Хельга жива или погибла.

Ни черта.

Моя Хельга не сомневалась, что я верю в то, что говорю о человеческих расах и механизмах истории, и я был благодарен ей. Неважно, кем я был в действительности, неважно, что я действительно думал. Безоглядная любовь — вот что мне было нужно, и моя Хельга была ангелом, который мне ее дарил.

В изобилии.

Ни один молодой человек на свете не столь совершенен, чтобы не нуждаться в безоглядной любви. Боже мой! Молодые люди участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, а ведь единственное сокровище, которое им стоит искать, — это безоглядная любовь.

Das Reich der Zwei, государство двоих — Хельгино и мое, — его территория, территория, которую мы так ревниво оберегали, не намного выходило за пределы наше необъятной двухспальной

кровати.

Ровная стеганая пружинистая маленькая страна, а мы с Хельгой — горы на ней.

И при том, что в моей жизни ничего не имело смысла, кроме любви, каким же исследователем географии я был! Какую карту я мог бы нарисовать для микроскопическою туриста, этакого субмикроскопического Wandervogel, колесящего на велосипеде между родинкой и курчавыми золотистыми волосками по обе стороны Хельгиного пупка. Если это образ дурного вкуса — прости меня, Боже. Для психического здоровья необходимы игры. Я просто описал наш собственный взрослый вариант детской игры «этот маленький поросеночек»…

О, как мы прижимались друг к другу, моя Хельга и я, как безумно мы прижимались! Мы не прислушивались к тому, что говорили друг другу. Мы слушали только мелодии наших голосов. В том, что мы слышали, было не больше смысла, чем в урчании и мурлыканье кошек.

Если бы мы больше вслушивались, искали в услышанном смысл, что за тошнотворной парой мы бы были! Вне суверенной территории нашего государства двоих мы разговаривали как все патриотичные психопаты вокруг нас.

Но это не шло в счет. Только одно шло в счет — государство двоих.

И когда это государство прекратило существование, я стал тем, кто я есть сейчас и буду всегда, — человеком без гражданства.

Я не могу сказать, что не был предупрежден. Человек, завербовавший меня тем давним весенним днем в Тиргартене, — тот человек предсказал мне мою судьбу достаточно хорошо.

— Чтобы как следует выполнять нашу работу, — говорила мне Моя Звездно-Полосатая Крестная, — вам придется совершить государственную измену, верно служить врагу. Вас никогда не простят за это, потому что нет юридического механизма, по которому вас можно простить.

Максимум, что для вас будет сделано, — сказал он, — ваша шея будет спасена. Но никогда не настанет то волшебное время, когда вы будете оправданы, когда Америка: вызовет вас из укрытия ободряющим: «Олле-олле-бык-на-воле».

## Глава одиннадцатая. Военные излишки…

Мать и отец мои умерли. Говорят, они умерли от разбитого сердца. Они умерли, когда им было за шестьдесят, в возрасте, когда сердца разбиваются особенное легко.

Они не только не увидели конца войны, но и никогда больше не увидели своего блистательного сыночка. Они не лишили меня наследства, хотя, вероятно, у них был большой соблазн это сделать. Они завещали Говарду У. Кемпбэллу-младшему, отъявленному антисемиту, перебежчику и радиозвезде, акции, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание было официально подтверждено, составляла сорок восемь тысяч долларов. Ценность всего этого барахла, пройдя через подъемы и инфляции, выросла к настоящему времени в четыре раза, обеспечивая мне ежегодную ренту в семь тысяч долларов.

Говорите обо мне что хотите, но я никогда не касался основного капитала.

В послевоенные годы, когда я жил чудаком

и затворником в Гринвич Вилледж, я тратил примерно четыре доллара в день, включая квартирную плату, и у меня даже был телевизор. Вся моя новая обстановка, как и я сам, состояла из военных излишков — узкая железная койка, одеяла цвета хаки со штампом «USA», складные парусиновые стулья, военные котелки, служившие и кастрюлями, и тарелками. Даже моя библиотека была в основном из военных излишков, ибо досталась мне из развлекательного снаряжения для наших заокеанских частей.

В этом развлекательном снаряжении были и грампластинки, поэтому я раздобыл, тоже из излишков, портативный граммофон, способный играть в любом климате, от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая этот запечатанный развлекательный товар как кота в мешке, я стал обладателем двадцати шести пластинок «Белого Рождества» Бинга Кросби.

Мое пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье были тоже из военных излишков.

Купив за доллар пакет первой медицинской помощи из военных излишков, я стал обладателем и некоторого количества морфия. Стервятники, обожравшиеся падалью на продаже военных излишков, смотрели на это сквозь пальцы.

У меня было искушение поколоться морфием, и если бы это приносило мне радость, я смог бы, имея достаточно денег, поддерживать эту привычку. Но тут я понял, что я уже наркоман.

Я не чувствовал боли.

Наркотиком, который помог мне пройти через войну, была способность питать все свои эмоции только одним — моей любовью к Хельге. Эта концентрация эмоций в такой маленькой области, начавшаяся с иллюзии молодого счастливого влюбленного, развилась в нечто, помешавшее мне спятить во время войны, и наконец превратилась в постоянную ось, вокруг которой вращались все мои мысли.

И поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти истово, словно какой-то узколобый религиозный фанатик. Всегда один, я поднимал за Хельгу тосты, говорил ей доброе утро, спокойной ночи, ставил для нее пластинки и плевал на все остальное.

И вот однажды, в 1958 году, после тринадцати лет такой жизни, я купил из военных излишков набор для резьбы по дереву. Это были уже излишки не второй мировой войны, а корейской войны. Он стоил три доллара.

Принеся его домой, я начал без всякой цели

пробовать вырезать на палке от швабры. Внезапно мне пришло в голову сделать шахматы. Я говорю о внезапности, потому что был поражен своим энтузиазмом. Энтузиазм был так велик, что я вырезал двенадцать часов подряд, десятки раз попадая острыми инструментами в ладонь левой руки, и все никак не мог остановиться. Я был в восторге и весь в крови, когда кончил. Результатом этой работы был прекрасны набор шахматных фигур.

И еще один странный импульс возник у меня.

Я почувствовал непреодолимое желание показать кому-нибудь, кому-нибудь из живых, великолепную вещь, которую я сделал.

Возбужденный творчеством и выпивкой, я спустился вниз и вежливо постучал в дверь соседа, не зная даже, кто он.

Моим соседом был хитрый, старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле старика звали полковник Иона Потапов. Этот древний сукин сын был русским агентом и работал в Америке непрерывно с 1935 года.

Я этого не знал.

И он поначалу тоже не знал, кто я. Нас свела слепая удача. Поначалу в этом не было никакой конспирации. Я постучал в его дверь, вторгся в

его жизнь. Если бы я не вырезал этих шахмат, мы бы никогда не встретились.

У Крафта — я буду так называть его, потому что я так его воспринимаю, — было три или четыре замка на входной двери. Я заставил его открыть их все, спросив, не играет ли он в шахматы. Это опять была слепая удача. Ничто другое не заставило бы его открыть.

Люди, помогавшие мне в моих последующих изысканиях, между прочим, рассказали мне, что имя Иона Потапов было хорошо известно по европейским шахматным турнирам начала тридцатых годов. Он даже выиграл у гроссмейстера Тартаковера в Роттердаме в 1931 году.

Когда он открыл дверь, я увидел, что он художник. Посередине гостиной стоял мольберт с чистым холстом, а на всех стенах висели сногсшибательные картины, написанные им.

Когда я говорю о Крафте, он же Потапов, я чувствую себя более уютно, чем когда я говорю о Виртанене, он же бог знает кто. Виртанен оставил не больший след, чем червяк, проползший по бильярдному столу. Свидетельства существования Крафта есть повсюду. Сейчас, когда я об этом пишу, картины Крафта стоят в Нью-Йорке по десять тысяч долларов за штуку.

У меня есть вырезка из Нью-Йорк геральд Трибюн от третьего марта, примерно двухнедельной давности, в которой критик говорит о Крафте-художнике:

«Вот, наконец, способный и благодарный наследник фантастической изобретательности и экспериментаторства в живописи последнего столетия.

Говорят, что Аристотель был последним, кто до конца понимал культуру своего времени. Джордж Крафт безусловно первый, кто до конца понимает все современное искусство, понимает до мозга костей.

С необыкновенным изяществом и твердостью он соединяет способы восприятия множества течений в живописи прошлого и настоящего. Он приводит нас в трепет и смирение, гармонией как бы говоря: «Если вы жаждете нового Ренессанса — вот какова должна быть живопись, которая выразит его дух».

Джорджу Крафту, он же Иона Потапов, разрешено продолжать свою выдающуюся творческую деятельность в федеральной тюрьме форта Ливенворт. Мы все, вместе с самим Крафтом-Потаповым, можем себе представить, как была бы полностью подавлена его деятельность в тюрьме

в его родной России».

Итак, когда Крафт открыл мне дверь, я понял, что его картины хороши. Но я не понял, что они настолько хороши. Я подозреваю, что процитированная выдержка написана педиком, нализавшимся коктейля «Александер».

— Я не знал, что подо мной живет художник, — сказал я.

— Может, я вовсе не художник, — ответил он.

— Удивительные картины. Где вы выставляетесь?

— А нигде.

— Вы бы сколотили состояние, если бы выставлялись, — сказал я.

— Приятно слышать, но я слишком поздно начал заниматься живописью.

И затем он рассказал мне то, что следовало принимать за историю его жизни, — ни слова правды.

Он сказал, что он вдовец из Индианаполиса. В молодости, сказал он, он хотел быть художником, но вместо этого занялся бизнесом — продажей красок и обоев.

— Моя жена умерла два года тому назад, — сказал он и ухитрился выдавить влагу из глаз. У него и правда была жена, но не похороненная в Инди-

анаполисе. У него была совершенно живая жена Таня в Борисоглебске. И он не видел ее двадцать пять лет.

— Когда она умерла, — сказал он мне, — я понял, что душа моя может выбрать только между двумя возможностями — самоубийством или мечтами юности. И я, старый дурак, выбрал мечты юного дурака. Я купил холсты и краски и приехал в Гринвич Вилледж.

— Детей нет? — спросил я.

— Нет, — сказал он печально. В действительности у него было трое детей и девять внуков. Его старший сын Илья — известный специалист по ракетам.

— Единственный родственник, который у меня есть в этом мире, — сказал он, — искусство, и я беднейший из его родственников. — Он не имел в виду, что он нищий. Он имел в виду, то он плохой художник. У него много денег, сказал он. Он продал свое дело в Индианаполисе за хорошие деньги.

— Шахматы, вы сказали что-то о шахматах? — спросил он.

Шахматы, которые я вырезал, лежали в коробке из-под ботинок. Я показал их ему.

— Я только что их вырезал, — сказал я, — и у

меня страшное желание сыграть ими.

— Хорошо играете? — спросил он.

— Я не играл очень давно, — ответил я.

Почти все мои шахматные партии были сыграны с Вернером Нотом, моим тестем, шефом берлинской полиции. Я постоянно обыгрывал Нота, когда мы с Хельгой по воскресеньям наносили ему визит. Единственным турниром, в котором я играл, был матч в министерстве народного образования и пропаганды. Я занял одиннадцатое место из шестидесяти пяти.

В пинг-понг я играл гораздо лучше. Я был чемпионом министерства в одиночных и парных играх четыре года подряд. Моим партнером был Хейнц Шильдкнехт, специалист по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Как-то мы с Хейнцем играли против пары Reichsleiter Геббельс и Oberdienstleiter Карл Хейдрих. Мы выиграли 21:2, 21:1, 21:0.

История часто идет рука об руку со спортом.

У Крафта была шахматная доска. Мы расставили фигуры и начали играть.

И непроницаемый, жесткий кокон цвета хаки, которым я себя окружил, начал трескаться, ослаб, впустив бледный проблеск света.

Я наслаждался игрой, мог интуитивно делать

достаточно интересные ходы, чтобы доставить моему новому другу удовольствие обыграть меня.

Потом мы с Крафтом играли по меньшей мере три партии ежедневно в течение года. И мы создали себе некое трогательное подобие домашнего очага, в котором мы оба так нуждались. Мы снова почувствовали вкус еды, делали маленькие открытия в бакалейных лавочках, приносили находки домой, чтобы вместе ими насладиться. Помню, когда настал сезон клубники, мы приветствовали его воплями восторга, словно второе пришествие Христа.

Особая близость между нами возникла по части вина. Крафт понимал в винах гораздо лучше меня и часто приносил покрытые паутиной сокровища. И хотя всегда, когда мы садились за стол, перед Крафтом стоял наполненный стакан, все вино было для меня. Он не мог выпить и глотка, чтобы не впасть в запой, который мог продолжаться месяц.

Из всего, что он рассказал мне о себе, правдой было только одно. Он был членом Общества Анонимных Алкоголиков. Уже шестнадцать лет. Хотя он использовал собрания А. А. в шпионских целях, у него был и настоящий интерес к этим

сборищам. Однажды он совершенно искренне сказал мне, что величайшее, что дала Америка миру, вклад, о котором будут помнить тысячелетия, — это изобретение Общества А. А.

Для этого шпиона-шизофреника было типично, что он использовал столь почитаемую им организацию в целях шпионажа.

Для этого шпиона-шизофреника было типично и то, что, будучи моим истинным другом, он в конце концов додумался, как изощреннее использовать меня в интересах России.

## Глава двенадцатая. Странные вещи в моем почтовом ящике…

Поначалу я врал Крафту, кто я и чем занимался. Но вскоре наша дружба так углубилась, что я рассказал ему все.

— Это так несправедливо! — сказал он. — Это заставляет меня стыдиться, что я американец. Почему правительство не выступит и не скажет: «Послушайте! Этот человек, на которого вы плюете, — герой». — Он негодовал, и, судя по всему, его негодование было искренним.

— Никто не плюет на меня, — сказал я, — Никто даже не знает, что я еще жив.

Он горел желанием прочесть мои пьесы. Когда я сказал ему, что у меня нет текста ни одной из них, он заставил меня пересказать их ему сцена за сценой — сыграть их для него.

Он сказал, что считает их великолепными. Возможно он был искренен. Не знаю. Мои пьесы казались мне слабыми, но, возможно, ему они нравились. По-моему, его волновало искусство как таковое, а не то, что я сделал.

— Искусство, искусство, искусство, — сказал он мне однажды вечером. — Не знаю, почему мне понадобилось так много времени, чтобы осознать его важность. В юности я, как ни странно, его презирал. Теперь, когда я о нем думаю, мне хочется упасть на колени и плакать.

Была поздняя осень. Опять настал сезон устриц, и мы поглощали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом уже около года.

— Говард, — сказал он, — будущие цивилизации, цивилизации лучшие, чем наша, будут судить о людях по их принадлежности к искусству. Если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, твои и мои, судить о нас будут по их качеству. Ничто другое не будет иметь значения.

— Гм-м… — сказал я.

— Ты должен снова начать писать. Подобно тому, как маргаритки цветут маргаритками, а розы розами, ты должен цвести как писатель, а я как художник. Все остальное в нас неинтересно.

— Мертвецы вряд ли могут писать хорошо, — сказал я.

— Ты не мертвец, ты полон идей! Ты можешь рассказывать часами, — сказал он.

— Вздор! — сказал я.

— Не вздор! — горячо возразил он. — Все, что тебе нужно, чтобы снова Писать, писать даже лучше, чем прежде, — это женщина.

— Что?

— Женщина.

— Откуда у тебя эта странная идея? — спросил я. — От пожирания устриц? Сначала найди ты, а потом уж и я. Ну как?

— Я слишком стар, чтобы женщина принесла мне пользу, а ты — нет.

И снова, пытаясь отделить правду от лжи, я думаю, что это его утверждение — правда. Он действительно хотел, чтобы я снова начал писать, и был убежден, что для этого нужна женщина.

— Если ты найдешь женщину, — говорил он, — то и я почти готов на унижение попытаться быть мужчиной.

— У меня уже была одна.

— У тебя она была когда-то. Это большая разница, — сказал он.

— Не хочу говорить об этом, — сказал я.

— А я все равно хочу.

— Ну и говори, и разыгрывай свата, сколько твоей душе угодно, — сказал я, вставая из-за стола. — Спущусь вниз посмотреть, что там в сегодняшней почте.

Он надоел мне, и я спустился вниз к почтовому ящику, просто чтобы рассеять раздражение. Я вовсе не жаждал посмотреть почту. Я часто неделями не интересовался, пришло ли мне что-нибудь. Единственное, что я обычно находил в ящике, были чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, всякая чепуха, адресованная владельцам почтовых ящиков, и рекламные брошюрки о книгах и приборах, якобы полезных в области образования.

Почему я стал получать рекламы педагогических пособий? Однажды я попытался устроиться учителем немецкого языка в одну из частных школ в Нью-Йорке. Это было году в 1950-м.

Я не получил работы и даже не хотел этого. Думаю, я сделал это, просто желая показать самому себе, что я еще существую.

Анкета, которую я заполнил, естественно, была полна вранья, была таким нагромождением лжи, что школа даже не потрудилась уведомить меня об отказе. Тем не менее мое имя каким-то образом попало в список возможных преподавателей. Поэтому и приходили эти бесконечные рекламы.

Я открыл почтовый ящик, в котором было содержимое за три-четыре дня.

Там был чек от компании Кока-Кола, извеще-

ние о собрании акционеров Дженерал моторс, запрос от Стандарт ойл в Нью-Джерси по поводу ведения моих дел и рекламный предмет фунтов восемь весом, замаскированный под школьный учебник. Он предназначался для тренировки школьников в перерывах между занятиями. В рекламе говорилось, что физическая подготовка американских детей ниже, чем у детей почти всех стран мира.

Но реклама этого странного предмета не была самой странной вещью в моем почтовом ящике. Здесь были вещи гораздо более странные.

Одна — письмо в конверте обычного размера из поста Американского легиона им. Френсиса Донована в Бруклайне, штат Массачусетс.

Другая — туго свернутая маленькая газета, посланная с Центрального вокзала. Я сначала вскрыл газету. Оказалось, что это «Белый Христианский Минитмен»[5] — непристойный, безграмотный, антисемитский, антинегритянский, антикатолический злобный листок, издаваемый преподобным доктором Лайонелем

---

**[5] Примечания: 5**

*Минитмен* (Minute Man) — ополченец, солдат народной милиции, образованной во время Войны за независимость в Америке, — должен был за считанные минуты прибывать на пункт сбора (отсюда название). В наше время М. — вооруженный член тайной фашистской организации, возникшей в США после второй мировой войны.

Дж. Д. Джонсом, Д. С. Х.

Самый крупный заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы Соединенные Штаты стали страной метисов!» Второй по величине заголовок гласил: «Красный Крест вливает белым негритянскую кровь!» Эти заголовки, едва ли могли меня поразить. Ведь именно этим я зарабатывал себе на жизнь в Германии. Еще ближе к духу прежнего Говарда У. Кемпбэлла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «В выигрыше от второй мировой войны только международное еврейство».

Затем я открыл письмо из поста Американского легиона. В нем говорилось:

> Дорогой Говард!
>
> Я был очень удивлен и разочарован, узнав, что ты еще не умер. Когда я думаю обо всех хороших людях, погибших во время второй мировой войны, а затем вспоминаю, что ты еще жив и живешь в стране, которую предал, меня просто тошнит. Ты, наверное, будешь счастлив узнать, что наш пост вчера вечером решил, что тебя надо либо повесить, либо депортировать в Германию, страну, кото-

рую ты так любишь.

Теперь, когда я знаю, где ты, я скоро нанесу тебе визит.

Будет приятно вспомнить старые времена.

Когда ты сегодня ляжешь спать, вонючая крыса, я надеюсь, тебе приснится концентрационный лагерь Ордруф. Мне надо было бросить тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность.

Весьма, весьма искренне твой

Бернард О'Хара,

Председатель поста Американского легиона.

Копии:

Дж. Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия

Директору ЦРУ, Вашингтон, округ Колумбия

Редакции журнала «Тайм», Нью-Йорк

Редакции журнала «Ньюсуик», Нью-Йорк

Редакции «Инфантри джорнел», Вашингтон, округ Колумбия

Редакции журнала «Лиджи Мегезин», Индианаполис, штат Индиана

Главному следователю Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, округ Колумбия

Редакции газеты «Белый Христианский Минитмен», 395, Бликер-стрит, Нью-Йорк.

Конечно, Бернард О'Хара был тот молодой человек, который взял меня в плен в конце войны, протащил по лагерю смерти Ордруф и запечатлен вместе со мной на достопамятной фотографии с обложки «Лайф».

Когда я нашел это письмо в своем почтовом ящике в Гринвич Вилледж, я удивился, каким образом он узнал, где я нахожусь.

Перелистав «Белый Христианский Минитмен», я увидел, что О'Хара не единственный, кто обнаружил Говарда У. Кемпбэлла-младшего. На третьей странице под простым заголовком «Американская трагедия!» была короткая заметка:

Говард У. Кемпбэлл-младший – знаменитый писатель и один из самых бесстрашных патриотов в американской истории, сейчас живет в бедности и одиночестве в мансарде на улице Бетьюн, 27. Такова судьба мыслящих людей, до-

статочно храбрых, чтобы сказать правду о тайном международном заговоре еврейских банкиров и международного еврейского коммунизма, которые не успокоятся, пока кровь каждого американца не будет безнадежно загажена негритянской и (или) восточной кровью.

## Глава тринадцатая. Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д. С. Х., Д. Б. …

Я благодарен Институту документации военных преступников в Хайфе за материалы, которые позволили включить в эту книгу биографию доктора Джонса, издателя «Белого Христианского Минитмена».

Хотя Джонс не был лицом, обвиняемым в военных преступлениях, на него имелось весьма внушительное досье. Вот что я выяснил, перелистывая эту сокровищницу сувениров.

Его преподобие доктор Лайонел Джейсон Дэвид Джонс, Д. С. Х., Д. Б. родился в Хаверхилле, штат Массачусетс, в 1889 году в семье методистов. Он был младшим сыном дантиста, внуком двух дантистов, братом двух дантистов и шурином трех дантистов. Он сам собирался стать дантистом, но был исключен из зубоврачебной школы Питтсбургского университета в 1910 году за то, что сейчас могло быть скорее всего диагностировано как паранойя. В 1910 году он был исключен просто за неуспеваемость.

Синдром его неудачи был далеко не прост. Его экзаменационные работы были, наверное, самыми длинным из когда-либо написанных в истории зубоврачебного образования и, вероятно, менее всего относящимися к делу. Они начинались достаточно разумно с рассмотрения вопроса, предлагавшегося на экзамене. Но, безотносительно к этому вопросу, Джонс ухитрялся перейти от него к собственной теории: зубы евреев и негров безусловно доказывают дегенеративность их обладателей.

Его зубоврачебные работы были высокого класса, и преподаватели надеялись, что со временем он избавится от своей политической интерпретации зубов. Но его болезнь прогрессировала, и в конце концов его экзаменационные работы стали безумными памфлетами, призывающими всех протестантов англосаксов объединиться против еврейско-негритянского засилия.

Когда Джонс начал обнаруживать по зубам доказательства вырождения у католиков и унитариев и когда у него под матрацем нашли пять заряженных пистолетов и штык, его в конце концов выкинули вон.

Родители Джонса отреклись от него, чего никогда не смогли сделать мои родители.

Оставшись без единого цента, Джонс нашел место ученика бальзамировщика в похоронном бюро братьев Шарф в Питтсбурге. За два года он стал управляющим. Еще через год он женился на овдовевшей владелице Хетти Шарф. Хетти тогда было пятьдесят восемь, а Джонсу двадцать четыре. Большинство исследователей жизни Джонса, почти все до единого настроенные к нему крайне недружелюбно, были вынуждены признать, что Джонс действительно любил свою Хетти. Брак, продолжавшийся до смерти Хетти в 1928 году, был счастливым.

Действительно, он был таким счастливым, таким совершенным, таким подлинным государством двоих, что Джонс все это время почти ничего не делал по части пробуждения бдительности англосаксов. Его, казалось, удовлетворяло ограничение расового вопроса профессиональными шуточками по поводу определенных трупов, шуточками, которые были привычными и в кругу самых либеральных бальзамировщиков. И это были его золотые годы не только с эмоциональной, финансовой, но и с творческой точки зрения. Работая с химиком доктором Ломаром Хорти, Джонс изобрел Виверин — бальзамирующую жидкость, и Гингива-тру, материал

для зубных протезов, прекрасно имитирующий естественные зубы.

Когда умерла жена, Джонс почувствовал необходимость возродиться. Его возродило то, что все это время скрыто дремало в нем. Джонс стал таким проповедником расизма, про которых говорят, что он выполз из пещеры. Джонс выполз из своей пещеры в 1928 году. Он продал похоронное бюро за восемьдесят четыре тысячи долларов и основал газету «Белый Христианский Минитмен».

В 1929-м Джонс был разорен биржевым крахом 1929 года. Его газета прекратила существование после четырнадцатого выпуска. Все четырнадцать выпусков были бесплатно разосланы каждому, кто значился в справочнике Who's Who. Единственными иллюстрациями были фотографии и схемы зубов, и каждая статья объясняла какое-нибудь текущее событие с точки зрения Джонсовой теории о стоматологии и расах.

В последнем номере газеты он отрекомендовал себя как доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, доктор стоматологической хирургии.

Опять без гроша, теперь уже сорокалетний Джонс откликнулся на объявление в профессиональном журнале похоронных работников.

Школа бальзамировщиков в Литтл Роке, штат Арканзас, нуждалась в президенте. Объявление было подписано вдовой бывшего президента и владельца.

Джонс получил работу, равно как и вдову. Вдову звали Мэри Алиса Шоуп. Когда Джонс на ней женился, ей было шестьдесят восемь лет.

И Джонс снова стал преданным мужем, счастливым, цельным и уравновешенным человеком.

Школа, которую он возглавил, называлась достаточно прямолинейно: Литтлрокская школа бальзамирования. Ежегодно от терял на ней восемь тысяч долларов. Джонс продал недвижимость школы, прекратил обучение благородному искусству бальзамирования и превратил ее в Библейский университет Западного полушария. Университет не имел учебных помещений, ничему не обучал и все дела вел по почте. Он присуждал степени доктора богословия и высылал дипломы в застекленной рамке — и все за восемьдесят долларов.

Джонс и сам разжился степенью доктора богословия Б. У. З. П., так сказать, из подручных средств. Когда умерла его вторая жена, он снова начал выпускать своего «Минитмена» и в заголовке именовался уже — его преподобие доктор

Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б.

Кроме того, он написал и опубликовал на собственные деньги книгу, в которой стоматология и теология сочетались с изящными искусствами. Книга называлась «Христос — не еврей». Он доказывал свою точку зрения, приводя в книге пятьдесят знаменитых картин с изображением Иисуса. Все эти картины, по мнению Джонса, свидетельствовали, что зубы и челюсти у Христа не еврейские.

Первые выпуски нового «Белого Христианского Минитмена» была столь же нечитабельны, как и старые. Но затем случилось чудо: «Минитмен» подскочил с четырех страниц до восьми. Оформление, шрифт и бумага стали шикарными и красивыми. Вместо зубных схем газета была буквально нафарширована фотографиями различных скандальных историй, происходивших во всех странах мира.

Объяснение было простым и очевидным. Джонса наняли и финансировали как агента пропаганды новорожденного гитлеровского Третьего рейха. Последние известия, фотографии, карикатуры и редакционные статьи поступали к Джонсу прямо с фабрики нацистской пропаганды в Эрфурте, Германия.

Вполне возможно, кстати, что многие из его непристойных материалов были написаны мною.

Джонс оставался агентом германской пропаганды даже после вступления США во вторую мировую войну. Его арестовали только в июле 1942 года, когда ему вместе с двадцатью другими было предъявлено обвинение в:

заговоре с целью подрыва морального духа, веры и доверия военнослужащих сухопутных и морских сил, а также и народа Соединенных Штатов к государственным служащим и республиканской форме правления, в заговоре с целью использования и злоупотребления свободой слова и печати для распространения своих преступных взглядов, в расчете на то, что страны, где есть свобода слова, беззащитны перед внутренними врагами, маскирующимися под патриотов, в попытках подорвать, ослабить и затруднить надлежащее функционирование республиканской формы правления под предлогом честной критики; в заговоре с целью лишить правительство Соединенных Штатов веры и доверия со стороны военнослужащих сухопутных и морских сил, а также народа, и тем самым сделать его неспособным защитить страну и народ

как от вооруженного нападения извне, так и от предательства изнутри.

Джонс был осужден и приговорен к четырнадцати годам, из коих отсидел восемь. Когда он был освобожден из тюрьмы в Атланте в 1950 году, он оказался богатым человеком. Изобретенные им бальзамирующая жидкость Виверин и Гингива-тру, материал для искусственных зубов, получили широкое признание на соответствующем рынке.

В 1955 году он возобновил публикацию «Минитмена».

Через пять лет этот энергичный пожилой общественный деятель семидесяти одного года от роду, лишенный всякого чувства вины, его преподобие доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б. нанес мне визит.

Почему я удостоил его такой подробной биографии?

Для того, чтобы противопоставить себе этого невежественного полоумного расиста. Я — ни невежественный, ни полоумный.

Те, чьи приказы я выполнял в Германии, были так же невежественны и полоумны, как доктор Джонс. Я знал это.

Но, Боже правый, я все равно выполнял их

инструкции.

## Глава четырнадцатая.
## Вид сверху в лестничный пролет…

Джонс нанес мне визит через неделю после того, как содержимое моего почтового ящика изменилось и стало выводить меня из равновесия. Сначала я сам попытался встретиться с ним. Он печатал свою грязную газетенку всего в нескольких кварталах от моей мансарды, и я пошел туда просить его прекратить всю эту историю.

Я не застал его.

Когда я вернулся домой, почтовый ящик был полон. Почти все письма были от подписчиков «Минитмена». Общей темой было то, что я не одинок, что у меня есть друзья. Женщина из Маунт Вернона, штат Нью-Йорк, писала, что мне уготован трон на небесах. Мужчина из Норфолка писал, что я новый Патрик Генри.[6]

Женщина из Сент-Пола прислала мне два доллара, чтобы я продолжал свою полезную

---

**[6] Примечания: 6**

*Патрик Генри* — член законодательного собрания колонии Виргиния, активно выступал за независимость США. В ответ на обвинения в измене, когда он заявил, что только представители колоний могут облагать эти колонии налогами (1775), сказал: «Пусть это измена, но надо ею воспользоваться».

деятельность. Она извинялась: это все, что она имеет. Человек из Бартлесвилля, штат Оклахома, спрашивал меня, почему я до сих пор не выбрался из этого Жидо-Йорка и не поселился в каком-нибудь истинно американском месте.

Я не мог понять, как Джонс нашел меня.

Крафт утверждал, что он тоже озадачен. Но он вовсе не был озадачен. Это он от имени анонимного патриота написал анонимное письмо Джонсу с радостным сообщением, что я жив. Он также посоветовал Джонсу послать экземпляр своей замечательной газеты в подарок Бернарду О'Хара из гарнизона Френсиса Х. Донована Американского легиона.

У Крафта были свои виды на меня.

И в то же время он писал мой портрет с таким сочувственным проникновением в мое «я», с такой симпатией, которые едва ли можно объяснить только желанием одурачить простачка.

Когда пришел Джонс, я позировал Крафту. Крафт только что пролил бутылку разбавителя, и я открыл дверь, чтобы выветрился запах.

Странное монотонное песнопение вплывало из лестничной клетки в открытую дверь. Я вышел на площадку, заглянул в отделанный дубом и лепниной спиральный пролет. Единственное,

что я увидел, это руки четверых людей, движущиеся вверх по перилам.

Это был Джонс с тремя друзьями.

Странное песнопение сопровождало движение рук. Руки продвигались фута на четыре по перилам, останавливались, и затем возникало пение.

Это был счет до двадцати на фоне одышки. У двоих товарищей Джонса, его телохранителя и его секретаря, были очень больные сердца. Чтобы их бедные старые сердца не лопнули, они останавливались через каждые несколько шагов, отмеряя отдых счетом до двадцати.

Телохранителем Джонса был Август Крапптауэр, бывший Vize-Bundesfuehrer организации Германо-Американский Bund. Крапптауэру было шестьдесят три года, одиннадцать лет он провел в тюрьме Атланта и там едва не отдал концы. Тем не менее он все еще выглядел вызывающе, по-мальчишески молодо, словно регулярно ходил к косметологу морга. Величайшим достижением его жизни была организация общего митинга Bund и ку-клукс-клана в Нью-Джерси в 1940 году. На этом митинге он заявил, что папа римский — еврей и что евреи владеют закладной в пятнадцать миллионов долларов на недвижимость Ватикана. Смена папы и одиннадцать лет в тю-

ремной прачечной не изменили его мнения.

Секретарь Джонса, Патрик Кили, был лишенный сана павликианский священник. «Отцу Кили», как называл его хозяин, было семьдесят три года. Он был алкоголиком. Перед второй мировой войной он служил капелланом детройтского оружейного клуба, который, как позже выяснилось, был организован агентами нацистской Германии. Мечтой клуба было перестрелять всех евреев. Одна из проповедей отца Кили на клубном собрании была записана газетным репортером и полностью напечатана на следующее утро. Это обращение к Богу было столь изуверским и фанатичным, что поразило папу Пия XI.

Кили был лишен сана, и папа Пий отправил длинное послание Американской Иерархии, в котором среди прочего говорилось: «Ни один истинный католик не должен участвовать в преследовании своих еврейских соотечественников. Удар по евреям — это удар по всему роду человеческому».

Кили, в отличие от его многих близких друзей, никогда не был в тюрьме. Пока его друзья наслаждались паровым отоплением, чистыми постелями и регулярным питанием за государственный счет, Кили трясся от холода, паршивел,

голодал, допивался до бесчувствия в трущобах, скитаясь по стране. Он бы до сих пор пропадал в трущобах или покоился бы в могиле для нищих, если бы Джонс и Крапптауэр не разыскали и не выручили его.

Знаменитая проповедь Кили, между прочим, оказалась парафразой сатирической поэмы, сочиненной мною и переданной на коротких волнах. И сейчас, когда я увековечиваю свой вклад в литературу, я хотел бы подчеркнуть, что заявление вице-бундесфюрера Крапптауэра относительно папы и закладных на Ватикан тоже мои изобретения.

Итак, эти люди поднимались ко мне по лестнице, распевая: раз, два, три, четыре…

И медленно, как все их восхождение, двигался далеко позади четвертый член их компании.

Четвертой была женщина. Все, что я мог видеть, — это ее бледная, без колец рука.

Рука Джонса лидировала. Она сверкала кольцами, как рука византийского принца. В описи ювелирных изделий этой руки фигурировали бы два обручальных кольца, сапфировая звезда, дарованная ему в 1940 году группой матерей, входящих в Ассоциацию Воинствующих Неевреев

имени Поля Ревера[7], алмазная свастика на оникосовой основе, подаренная ему в 1939 году бароном Манфредом Фрейхер фон Киллингером, тогдашним генеральным консулом в Сан-Франциско, а также Американский орел[8], вырезанный из нефрита и оправленный в серебро, — образец японского искусства, подарок Роберта Стерлинга Вильсона. Вильсон — Черный Фюрер Гарлема — негр, который попал в тюрьму в 1942 году как японский шпион.

Разукрашенная драгоценностями рука Джонса покинула перила. Джонс сбежал по лестнице к женщине, сказал ей что-то, чего я не понял. Затем он снова появился, семидесятилетний мужчина, почти совершенно без одышки.

Он возник передо мной и осклабился, показывая ряд белоснежных зубов из Гингива-тру.

— Кемпбэлл? — спросил он, дыша почти ровно.

— Да, — ответил я.

— Я — доктор Джонс. У меня для вас сюрприз.

— Я уже видел вашу газету, — сказал я.

---

**[7] Примечания: 7**

*Поль Ревер* — американский патриот времен Войны за независимость.

**[8] Примечания: 8**

*Американский орел* — герб США — орел с оливковой ветвью (символ мира) в одной лапе и пучком из 13 боевых стрел (по числу первых тринадцати колоний — символ войны) — в другой.

— Нет, не газета. Больший сюрприз.

Теперь в поле зрения появились отец Кили и вице-бундесфюрер Крапптауэр; они хрипели и прерывистым шепотом считали до двадцати.

— Еще больший сюрприз? — сказал я, приготовившись дать ему суровый отпор, чтобы он и подумать не смел, что мы с ним опять одного поля ягода.

— Женщина, которую я привел… — начал он.

— Что это за женщина?

— Это — ваша жена, — сказал он.

— Я связался с ней, — сказал Джонс, — и она умоляла меня ничего не говорить вам о ней. Она настояла, чтобы это было именно так, чтобы она просто появилась без всякого предупреждения.

— Чтобы я сама могла понять, есть ли место для меня в твоей жизни, — сказала Хельга. — Если нет, я просто попрощаюсь, исчезну и никогда больше не потревожу тебя снова.

## Глава пятнадцатая.
## Машина времени…

Если бледная, без колец рука внизу на перилах была рукой моей Хельги, это была рука сорокапятилетней женщины. Если это рука Хельги, это рука немолодой женщины, которая шестнадцать лет провела в плену у русских.

Непостижимо, чтобы моя Хельга все еще могла оставаться красивой и полной жизни.

Если Хельга пережила русское наступление на Крым, избежала всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, бряцающих игрушек войны, которые убивали быстро, ее все равно ожидала участь, которая убивает медленно, как проказа. Мне не надо было гадать, что это за участь. Эта участь была хорошо известна, она одинаково относилась ко всем пленным женщинам на русском фронте, она была частью ужасной повседневности любой вполне современной, вполне образованной, вполне асексуальной нации во вполне современной войне.

Если моя Хельга избежала гибели в бою, захватившие ее в плен, конечно, затолкали ее

прикладами в команду каторжников. Ее, конечно, загнали в одно из стад хромающих, грязных, скособоченных, отчаявшихся оборванцев, без числа рассеянных по матушке-России, превратили ее в ломовую лошадь, питающуюся вырытыми на обледенелых полях кореньями, в безымянное бесполое косолапое существо, запряженное в громыхающую тачку.

— Моя жена? — спросил я у Джонса. — Я не верю вам.

— Легко проверить, лгу я или нет, — сказал он шутливо. — Посмотрите сами.

Я решительно и твердо пошел вниз.

И я увидел женщину.

Она снизу улыбалась мне, подняв подбородок так, что я видел ее черты ясно и четко.

Ее волосы были снежно-белые.

В остальном это была моя Хельга, не тронутая временем.

В остальном она была такой же цветущей и изящной, как в нашу первую брачную ночь.

## Глава шестнадцатая.
## Хорошо сохранившаяся женщина...

Мы плакали как дети, подталкивая друг друга вверх по лестнице в мою мансарду.

Проходя мимо отца Кили и вице-бундесфюрера Крапптауэра, я увидел, что Кили плачет. Крапптауэр стоял по стойке «смирно», отдавая честь англосаксонской семье. Джонс, выше по лестнице, сиял от удовольствия при виде чуда, которое он совершил. Он потирал и потирал свои покрытые драгоценностями руки.

— Моя — моя жена, — сказал я старому другу Крафту, когда мы с Хельгой вошли в мансарду. И Крафт, пытаясь удержать слезы, раскусил надвое мундштук своей погасшей трубки из кукурузного початка. Он никогда не плакал, но сейчас был близок к этому, мне кажется, очень близок.

Джонс, Крапптауэр и Кили вошли за нами.

— Как получилось, — сказал я Джонсу, — что вы возвращаете мне жену?

— Фантастическое совпадение, — ответил Джонс. — Однажды я узнал, что вы еще живы. Через месяц я узнал, что ваша жена тоже жива.

Разве, такое совпадение — не рука Господня?

— Не знаю, — сказал я.

— Моя газета небольшим тиражом распространяется в Западной Германии. Один из моих подписчиков прочел о вас и прислал мне телеграмму. Он спрашивал, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин, — сказал он.

— Почему он не телеграфировал мне? — спросил я. Я повернулся к Хельге.

— Дорогая, — сказал я по-немецки, — почему ты не телеграфировала мне?

— Мы так долго были разлучены, я так долго была мертва, — сказала она по-английски. — Я думала, что ты, конечно, начал новую жизнь, в которой для меня нет места. Я надеялась на это.

— Моя жизнь — это только место для тебя, — сказал я. — Ее никогда не мог бы заполнить никто, кроме тебя.

— Так много надо рассказать, о многом поговорить, — сказала она, прижимаясь ко мне. Я смотрел на нее с изумлением. Ее кожа была такой нежной и чистой. Она поразительно хорошо сохранилась для женщины сорока пяти лет.

Что делало ее прекрасный вид еще более удивительным — это ее рассказ о том, как она провела

последние пятнадцать лет.

Ее взяли в плен в Крыму и изнасиловали. В товарном вагоне отправили на Украину и приговорили к каторжным работам.

— Оборванные, спотыкающиеся, повенчанные с грязью суки, — говорила она, — вот кто мы были. Когда война кончилась, никто даже не позаботился сказать нам об этом. Наша трагедия была нескончаемой. Мы не значились ни в каких списках. Мы бесцельно брели по разрушенным деревням. Любому, у кого была какая-нибудь черная и бессмысленная работа, достаточно было поманить нас, и мы ее выполняли.

Она отодвинулась от меня, чтобы жестами сопровождать свой рассказ. Я подошел к окну, слушал и глядел сквозь пыльное стекло на голые ветви деревьев без листьев и птиц.

На трех пыльных оконных стеклах были грубо нарисованы свастика, серп и молот, звезды и полосы. Я нарисовал эти символы несколько недель назад, в конце нашего с Крафтом спора о патриотизме. Я усердно прокричал «ура» каждому символу, разъясняя Крафту смысл патриотизма, соответственно, нациста, коммуниста и американца.

— Ура, ура, ура! — прокричал я тогда.

А Хельга все пряла свою пряжу, ткала биографию на безумном ткацком станке истории. Она убежала с принудительных работ через два года и на следующий день была схвачена полоумными азиатами с автоматами и полицейскими собаками.

Три года провела она в тюрьме, рассказывала она, и затем ее отправили в Сибирь переводчицей и писарем в регистратуру огромного лагеря военнопленных. Хотя война давно уже кончилась, здесь в плену еще находились восемь тысяч эсэсовцев.

— Я пробыла там восемь лет, к счастью для себя, загипнотизированная этой несложной рутиной. У нас были подробные списки всех узников, этих бессмысленных жизней за колючей проволокой. Эти эсэсовцы, некогда такие молодые, сильные, наводившие страх, стали седыми, слабыми, жалкими, — говорила она. — Мужья без жен, отцы без детей, ремесленники без ремесла.

Говоря об этих сломленных эсэсовцах, Хельга задала загадку сфинкса: «Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень на двух, вечером на трех?»

И сама себе ответила хрипло: «Человек».

А потом ее репатриировали, некоторым обра-

зом репатриировали. Ее вернули не в Берлин, а в Дрезден, в Восточную Германию. Заставили работать на сигаретной фабрике, которую она описывала в удручающих подробностях. Однажды она сбежала в Восточный Берлин, оттуда перешла в Западный. Вскоре она вылетела ко мне.

— Кто оплатил тебе дорогу? — спросил я.

— Ваши почитатели, — с жаром ответил Джонс. — Не думайте, что вы должны благодарить их. Они считают себя настолько обязанными вам, что никогда не смогут вам отплатить.

— За что? — спросил я.

— За то, что вы имели мужество говорить правду во время войны, когда все остальные лгали, — ответил Джонс.

## Глава семнадцатая. Август Крапптауэр отправляется в Валгаллу...

Вице-бундесфюрер по собственной инициативе спустился с лестницы, чтобы принести багаж моей Хельги из лимузина Джонса. Наше с Хельгой воссоединение сделало его снова молодым и галантным. Никто не знал, что у него на уме, пока он не появился у меня на пороге с чемоданом в каждой руке. Джонс и Кили оцепенели от страха за его синкопирующее, почти остановившееся больное сердце.

Лицо вице-бундесфюрера было цвета томатного сока.

— Идиот! — сказал Джонс.

— Нет, нет, я в полном порядке, — сказал Крапптауэр улыбаясь.

— Почему ты не попросил Роберта сделать это? — сказал Джонс.

Роберт был его шофер, сидевший внизу в его лимузине. Роберт был негр семидесяти трех лет. Роберт был Робертом Стерлингом Вильсоном, бывшим рецидивистом, японским агентом и

Черным Фюрером Гарлема.

— Надо было приказать Роберту принести вещи, — сказал Джонс. — Черт возьми, ты не должен так рисковать своей жизнью.

— Это честь для меня, — сказал Крапптауэр, — рисковать жизнью ради жены человека, служившего Адольфу Гитлеру так верно, как Говард Кемпбэлл.

И он упал замертво.

Мы пытались оживить его, но он был совершенно мертв, с отвалившейся челюстью, ну полное дерьмо.

Я побежал вниз, на третий этаж, где жил доктор Абрахам Эпштейн со своей матерью. Доктор был дома. Доктор Эпштейн обошелся с несчастным старым Крапптауэром весьма грубо, заставляя его продемонстрировать всем нам, что он действительно мертв.

Эпштейн был еврей, и я думал, что Джонс и Кили могут возмутиться тем, как он трясет и бьет по щекам Крапптауэра. Но эти древние фашисты были по-детски уважительны и доверчивы.

Пожалуй, единственное, что Джонс сказал Эпштейну после того, как тот объявил Крапптауэра окончательно мертвым, было: «Кстати, я дантист, доктор».

— Да? — сказал Эпштейн. Ему это было неинтересно. Он вернулся в свою квартиру вызвать «скорую помощь». Джонс накрыл Крапптауэра моим одеялом из военных излишков.

— Именно сейчас, когда дела его наконец пошли на лад, — сказал он об умершем.

— Каким образом? — спросил я.

— Он начал создавать небольшую действующую организацию, — сказал Джонс. — Небольшую, но верную, надежную, преданную делу.

— Как она называется? — спросил я.

— Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции, — сказал Джонс. — У него был несомненный талант сплачивать совершенно обычных парней в дисциплинированную, полную решимости силу. — Джонс печально покачал головой. — Он находил такой глубокий отклик у молодежи.

— Он любил молодежь, и молодежь любила его, — сказал отец Кили. Он все еще плакал.

— Это эпитафия, которую надо выбить на его могильной плите, — сказал Джонс. — Он обычно занимался с юношами в моем подвале. Вы бы посмотрели, как он его оборудовал для них, обычных подростков из разных слоев общества.

— Это были подростки, которые обычно бол-

тались неприкаянными и без него могли бы попасть в беду, — сказал отец Кили.

— Он был одним из самых больших ваших почитателей, — сказал Джонс.

— Да? — сказал я.

— Раньше, когда вы выступали на радио, он никогда не пропускал ваших радиопередач. Когда его посадили в тюрьму, он первым делом собрал коротковолновый приемник, чтобы продолжать слушать вас. Каждый день он просто захлебывался от того, что слышал от вас накануне ночью.

— Гм… — произнес я.

— Вы были маяком, мистер Кемпбэлл, — сказал Джонс с жаром. — Понимаете ли вы, каким маяком вы были все эти черные годы?

— Нет, — сказал я.

— Крапптауэр надеялся, что вы будете идейным наставником его Железной Гвардии, — сказал Кили.

— А я — капелланом, — сказал Кили.

— О, кто, кто, кто возглавит теперь Железную Гвардию? — сказал Джонс. — Кто выступит вперед и поднимет упавший светильник?

Раздался сильный стук в дверь. Я открыл дверь, там стоял шофер Джонса, морщинистый старый негр со злобными желтыми глазами. На нем

были черная униформа с белым кантом, армейский ремень, никелированный свисток, фуражка Luftwaffe без кокарды и черные кожаные краги.

В этом курчавом седом старом негре не было ничего от дяди Тома. Он вошел артритной походкой, но большие пальцы его рук были заткнуты под ремень, подбородок выпячен вперед, фуражка на голове.

— Здесь все в порядке? — спросил он Джонса. — Вы что-то задержались.

— Не совсем, — сказал Джонс, — Август Крапптауэр умер.

Черный Фюрер Гарлема отнесся к этому спокойно.

— Все помирают, все помирают, — сказал он. — Кто поднимет светильник, когда помрут все?

— Я как раз сейчас задал тот же вопрос, — сказал Джонс. Он представил меня Роберту. Роберт не подал мне руки.

— Я слышал о вас, но никогда не слушал вас, — сказал он.

— Ну и что, нельзя же всем всегда делать только приятное, — заметил я.

— Мы были по разные стороны, — сказал Роберт.

— Понимаю, — сказал я. Я ничего не знал о нем

и был согласен с его принадлежностью к любой из сторон, которая ему больше нравилась.

— Я был на стороне цветных, — сказал он, — я был с японцами.

— Вот как? — сказал я.

— Мы нуждались в вас, а вы в нас, — сказал он, имея в виду союз Германии и Японии во второй мировой войне. — Но с многим из того, что вы говорили, мы не могли согласиться.

— Наверное так, — сказал я.

— Я хочу сказать, что, судя по вашим передачам, вы не такого уж хорошего мнения о цветных, — сказал Роберт.

— Ну, ладно, ладно, — сказал Джонс примирительно. — Стоит ли нам пререкаться? Что надо, так это держаться вместе.

— Я только хочу сказать ему, что говорю вам, — сказал Роберт. — Его преподобию я каждое утро говорю то же, что говорю вам сейчас. Даю ему горячую кашу на завтрак и говорю: «Цветные поднимутся в праведном гневе и захватят мир. Белые в конце концов проиграют».

— Хорошо, хорошо, Роберт, — сказал терпеливо Джонс.

— Цветные будут иметь свою собственную водородную бомбу. Они уже работают над ней.

Японцы скоро сбросят ее. Остальные цветные народы окажут им честь сбросить ее первыми.

— И на кого же они собираются сбросить ее? — спросил я.

— Скорее всего, на Китай, — сказал он.

— На другой цветной народ? — сказал я.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— Кто сказал вам, что китайцы цветные? — спросил он.

## Глава восемнадцатая
## Прекрасная голубая ваза Вернера Нота…

Наконец нас с Хельгой оставили вдвоем.

Мы были смущены.

Будучи весьма немолодым человеком и прожив столько лет холостяком, я был более чем смущен. Я боялся подвергнуть испытанию свои возможности любовника. И страх этот усиливался удивительной молодостью, которую каким-то чудом сохранила моя Хельга.

— Это… это, как говорится, начать знакомство заново, — сказал я. Мы говорили по-немецки.

— Да, — сказала она. Теперь она подошла к окну и рассматривала патриотические эмблемы, нарисованные мною на пыльном стекле. — Что же из этого теперь твое, Говард? — спросила она.

— Прости?..

— Серп и молот, свастика или звезды и полосы — что теперь тебе больше нравится?

— Спроси меня лучше о музыке, — сказал я.

— Что?

— Спроси меня лучше, какая музыка мне теперь

нравится? — сказал я. — У меня есть некоторое мнение о музыке. И у меня нет никакого мнения о политике.

— Понятно, — сказала она. — Хорошо, какую музыку ты теперь любишь?

— «Белое Рождество», — сказал я, — «Белое Рождество» Бинга Кросби.

— Что-что? — сказала она.

— Это моя любимая вещь. Я так ее люблю, у меня двадцать шесть пластинок с ее исполнением.

Она взглянула на меня озадаченно.

— Правда? — сказала она.

— Это… это моя личная шутка, — сказал я, запинаясь.

— Вот как!

— Моя личная — я так долго жил один, что все у меня мое личное. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь смог понять, что я говорю.

— Я смогу, — с нежностью сказала она. — Дай мне немного времени, совсем немного, и я снова буду понимать все, что ты говоришь. — Она пожала плечами. — У меня тоже есть мои личные шутки.

— Вот теперь у нас снова все будет личное на двоих, — сказал я.

— Это будет прекрасно.

— Опять государство двоих.

— Да, — сказала она. — Скажи…

— Все, что угодно, — сказал я.

— Я знаю, как умер отец, но ничего не смогла выяснить о маме и Рези. Слышал ли ты хоть что-нибудь?

— Ничего, — ответил я.

— Когда ты их видел в последний раз? — спросила она.

Вспоминая прошлое, я мог назвать точную дату, когда последний раз видел отца Хельги, ее мать и хорошенькую маленькую фантазерку сестричку Рези Нот.

— Двенадцатого февраля 1945 года.

И я рассказал ей об этом дне. День был такой холодный, что у меня ныли кости. Я украл мотоцикл и заехал навестить родителей жены — семью Вернера Нота, шефа берлинской полиции. Вернер Нот жил в предместье Берлина, далеко от зоны бомбежки. Он жил с женой и дочерью в окруженном стеной белом доме, монолитном, прочном и величественном, как гробница римского патриция. За пять лет тотальной войны дом совсем не пострадал, не треснуло даже ни одно стекло. Сквозь высокие, глубоко посаженные южные окна, как в раме, был виден окруженный

стенами фруктовый сад, а северные обрамляли вид на берлинские руины с торчащими из них памятниками.

Я был в военной форме. На ремне у меня был крошечный револьвер и большой нелепый парадный кинжал. Я обычно не носил формы, хотя имел право носить ее — синюю с золотом форму майора Свободного Американского Корпуса.

Свободный Американский Корпус был мечтой фашистов, мечтой о боевой части, сформированной в основном из американских военнопленных. Это должна была быть добровольная организация. Она должна была сражаться только на русском фронте. Это должна была быть военная машина с высочайшим боевым духом, движимая любовью к западной цивилизации и страхом перед монгольскими ордами.

Когда я говорю, что эта воинская часть была мечтой нацистов, у меня начинается приступ шизофрении, так как идея Свободного Американского Корпуса принадлежала мне. Я сам предложил создать этот корпус, придумал форму и знаки отличия, написал его кредо. Кредо начиналось словами: «Я, подобно моим славным американским предкам, верю в истинную свободу…»

Свободный Американский Корпус не имел шумного успеха. В него вступили всего трое американских военнопленных. Бог знает, что с ними сталось. Подозреваю, что их уже не было в живых, когда я приехал навестить Нотов, и что из всего корпуса остался в живых только я.

Когда я заехал к ним, русские были всего в двадцати милях от Берлина. Я решил, что война уже на исходе и самое время кончать мою шпионскую карьеру.

Я вырядился в форму, чтобы усыпить бдительность тех немцев, которые могли помешать мне выбраться из Берлина. К багажнику моего украденного мотоцикла был привязан сверток с гражданской одеждой. Я заехал к Нотам без всякой задней мысли. Я просто хотел попрощаться с ними и чтобы они попрощались со мной. Я беспокоился о них, жалел, по-своему любил их.

Железные ворота большого белого дома были открыты. В воротах, подбоченившись, стоял сам Вернер Нот. Он наблюдал за работой группы польских и русских женщин, угнанных в Германию. Они перетаскивали чемоданы и мебель из дома в три запряженных лошадьми фургона.

В упряжке были маленькие золотистые лошадки монгольской породы, ранние трофеи русской

кампании.

Надсмотрщиком был толстый, средних лет голландец в поношенном костюме.

Охранял женщин высокий старик с одностволкой времен франко-прусской войны. На его чахлой груди болтался Железный крест.

Еле волоча ноги, из дома вышла женщина, несшая великолепную голубую вазу. Она была обута в деревянные башмаки с холщовыми завязками. Это было оборванное существо без имени, без возраста, без пола. У нее был потухший взгляд. Нос у нее был отморожен, в багровых и белах пятнах.

Казалось, она вот-вот уронит вазу, она так ушла в себя, что ваза просто могла выскользнуть у нее из рук.

Мой тесть, видя, что ваза может упасть, завопил, как полоумный. Он визжал, что Бог мог бы пожалеть его, посочувствовать ему хоть раз, дать ему более разумное и энергичное существо. Он вырвал вазу у оцепеневшей женщины. Чуть ли не в слезах он призывал нас всех полюбоваться голубой вазой, которая едва не исчезла с лица земли из-за тупости и лени.

Оборванный голландец-надсмотрщик подошел к женщине и, истошно крича, повторил ей слово в слово то, что сказал мой тесть. С ним был и ста-

рый солдат, являя собой ту силу, которая в случае необходимости будет применена к ней.

Что в конце концов сделали с ней, было смехотворно. Ее даже не тронули.

Ей просто было отказано в чести перетаскивать вещи Нота.

Ей велели стоять в стороне, тогда как остальным продолжали доверять эти сокровища. Наказание состояло в том, чтобы заставить ее почувствовать себя идиоткой. Ей была дана возможность приобщиться к цивилизации, а она проворонила этот шанс.

— Я пришел сказать до свидания, — сказал я Ноту.

— До свидания, — сказал он.

— Я отправляюсь на фронт.

— Вон туда, — сказал он, указывая на восток. — Это совсем близко. Вы сможете добраться туда за день, собирая лютики по дороге.

— Вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова, — сказал я.

— Ну и что? — сказал он.

Я пожал плечами.

— Ну и ничего.

— Вот именно, — сказал он, — и ничего, и ничего, и ничего.

— Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?

— Я остаюсь здесь, — сказал он. — Жена и дочь собираются в дом моего брата под Кельном.

— Могу ли я чем-нибудь помочь?

— Да, — сказал он. — Вы можете пристрелить собаку Рези. Она не выдержит дороги. Мне она не нужна, да я и не могу обеспечить ее вниманием и общением, к которому ее приучила Рези. Застрелите ее, пожалуйста.

— Где она?

— Я думаю, что она с Рези в музыкальной комнате. Рези знает, что собаку надо пристрелить, и у вас не будет неприятностей.

— Хорошо, — сказал я.

— Какая прекрасная форма, — сказал он.

— Благодарю вас.

— Не будет ли с моей стороны грубостью спросить, что она олицетворяет?

Я никогда не носил форму в его присутствии.

Я объяснил ему ее значение, показал эмблему на рукоятке кинжала. Серебряная эмблема на ореховой рукоятке изображала американского орла, который зажал в правой лапе свастику, а левой лапой душил змею. Змея была, так сказать, символом международного еврейского коммунизма. Вокруг головы орла было тринадцать

звезд, символизировавших тринадцать первых американских колоний. Я сам делал первоначальный набросок эмблемы, и так как я не очень хорошо рисую, нарисовал шестиконечные звезды Давида, а не пятиконечные звезды Соединенных Штатов. Серебряных дел мастер, основательно подправив орла, воспроизвел мои шестиконечные звезды в точности.

Именно эти звезды поразили воображение моего тестя.

— Это, наверное, тринадцать евреев в кабинете Франклина Рузвельта? — сказал он.

— Очень забавная идея, — сказал я.

— Обычно думают, что немцы лишены чувства юмора.

— Германия — самая непонятная страна в мире.

— Вы один из немногих иноземцев, которые действительно нас понимают, — сказал он.

— Надеюсь, я заслужил этот комплимент.

— Этот комплимент вам нелегко было заслужить. Вы разбили мое сердце, женившись на моей дочери. Я хотел иметь зятем немецкого солдата.

— Мне очень жаль, — сказал я.

— Вы сделали ее счастливой.

— Надеюсь.

— Это заставило меня ненавидеть вас еще больше. Счастью нет места на войне.

— Очень жаль, — сказал я.

— Я вас так ненавидел, что стал вас изучать. Я слушал все, что вы говорили. Я никогда не пропускал ваших радиопередач, — сказал он.

— Я этого не знал, — сказал я.

— Никто не может знать все, — сказал он. — Знаете ли вы, что почти до этого самого момента ничто не могло бы доставить мне большего удовольствия, чем доказать, что вы шпион, и увидеть, как вас расстреляют.

— Нет, не знаю, — сказал я.

— И знаете ли вы, почему мне теперь наплевать, шпион вы или нет? — сказал он. — Вы можете сказать мне сейчас, что вы шпион, и все равно мы будем разговаривать так же спокойно, как сейчас. И я позволю вам исчезнуть в любое место, куда обычно исчезают шпионы, когда кончается война. Знаете, почему? — сказал он.

— Нет.

— Потому, что вы никогда не могли бы служить нашему врагу так хорошо, как служили нам. Я понял, что почти все идеи, которые я теперь разделяю, которые позволяют мне не стыдиться

моих чувств и поступков нациста, пришли не от Гитлера, не от Геббельса, не от Гиммлера, а от вас. — Он пожал мне руку. — Если бы не вы, я бы решил, что Германия сошла с ума.

Он резко отвернулся от меня. Он подошел к той женщине с потухшим взглядом, которая чуть не уронила вазу. Провинившаяся оцепенело и тупо стояла у стены, там, где ей приказали.

Вернер Нот слегка тряхнул ее, пытаясь пробудить в ней хоть каплю разума. Он показал на другую женщину, которая несла уродливую китайскую дубовую резную собаку, несла осторожно, как ребенка.

— Видишь? — сказал он тупице. Он не хотел обидеть ее. Он просто хотел превратить это тупое создание в более отесанное, более полезное человеческое существо.

— Видишь, — сказал он снова искренне, с желанием помочь, почти просительно. — Вот как надо обращаться с драгоценными вещами.

## Глава девятнадцатая.
## Маленькая Рези Нот…

Я вошел в музыкальную комнату опустевшего дома Вернера Нота и нашел там маленькую Рези и ее собачку.

Маленькой Рези было тогда десять лет. Она свернулась в кресле у окна. Перед ее взором были не развалины Берлина, а огороженный фруктовый сад, снежно-белое кружево деревьев.

Дом уже не обогревался. Рези была в толстых шерстяных носках, закутана в пальто и шарф. Около нее стоял маленький чемоданчик. Она уже была готова к отъезду. Она сняла перчатки, аккуратно положила их на ручку кресла. Она сняла их и ласкала собачку, лежащую у нее на коленях. Это была такса, потерявшая на военном пайке всю шерсть и почти неподвижная от водянки.

Собака была похожа на амфибию из доисторических болот. Коричневые глазки собачки безумели от экстаза, когда Рези ласкала ее. Каждая клеточка ее сознания следовала за кончиками пальцев, гладившими ее шкуру.

Я не очень хорошо знал Рези. Однажды в начале

войны, еще лепечущей крошкой, она привела меня в дрожь, назвав американским шпионом. С тех пор я старался проводить как можно меньше времени под ее изучающим детским взглядом. Я вошел в музыкальную комнату и поразился, как Рези становится похожей на мою Хельгу.

— Рези? — сказал я. Она не взглянула на меня.

— Я знаю, что собаку пора убить, — сказала она.

— Мне вовсе не хочется этого делать, — сказал я.

— Вы сделаете это сами или поручите кому-нибудь?

— Твой отец просил меня сделать это.

Она повернулась и взглянула на меня.

— Вы теперь солдат. Вы надели форму только для того, чтобы убить собаку?

— Я иду на фронт, — сказал я. — И зашел попрощаться.

— На какой фронт?

— На русский.

— Вы умрете, — сказала она.

— Наверное, а может быть, и нет, — сказал я.

— Каждый, кто еще не умер, очень скоро умрет, — сказала она. Ее, казалось, это не очень волновало.

— Не каждый, — сказал я.

— А я умру, — сказала она.

— Надеюсь, что нет. Уверен, что с тобой все будет в порядке.

— Наверное, это не страшно, когда убивают. Просто вдруг меня не станет, — сказала она. Она сбросила собаку с колен. Та шлепнулась на пол, как кусок сырого мяса.

— Возьмите ее, — сказала она. — Я ее никогда не любила. Я просто жалела ее.

Я поднял собаку.

— Ей лучше умереть, — сказала она.

— Я думаю, ты права.

— Мне тоже лучше умереть, — сказала она.

— Ну зачем ты так…

— Хотите, я вам что-то скажу? — сказала она.

— Давай.

— Наверное, никто из нас долго не проживет, и поэтому я могу вам сказать, что люблю вас.

— Очень приятно, — сказал я.

— Я действительно вас люблю, — сказала она. — Когда была жива Хельга и вы приезжали сюда, я всегда ей завидовала. Когда Хельга умерла, я стала мечтать о том, как я вырасту, выйду за вас замуж, стану знаменитой актрисой и вы будете писать пьесы для меня.

— Это честь для меня, — сказал я.

— Но это не имеет значения. Ничего не имеет значения. Идите и пристрелите собаку.

Я раскланялся, унося собаку. Я отнес ее в сад, положил на снег и вынул мой крошечный пистолет.

Три человека наблюдали за мной. Первым была Рези, стоявшая у окна музыкальной комнаты. Вторым был древний солдат, охранявший польских и русских женщин.

Третьим была моя теща Ева Нот. Ева Нот стояла у окна второго этажа. Подобно собачке Рези, она отекла на военном пайке. Бедная женщина, раздувшаяся в эти недобрые времена, как сарделька, стояла по стойке «смирно», казалось, она рассматривает убиение собаки как некую важную церемонию.

Я выстрелил собаке в затылок. Звук от выстрела был короткий, негромкий, как металлический плевок пистолета с глушителем.

Собака умерла, даже не вздрогнув.

Подошел старый солдат, выказав профессиональный интерес к тому, какую рану мог нанести такой маленький пистолет. Он перевернул собаку ботинком, нашел на снегу пулю и глубокомысленно хмыкнул, словно я сделал что-то

интересное и поучительное. Он стал говорить о разных ранах, которые он видел или о которых слышал, о разных дырах в некогда живых существах.

— Вы собираетесь закопать ее? — спросил он.

— Я думаю, так будет лучше.

— Если вы этого не сделаете, ее кто-нибудь съест.

## Глава двадцатая. Вешательницы берлинского вешателя…

Только недавно, в 1958 или в 1959 году, я узнал, как умер мой тесть. Я знал, что он умер. Детективное агентство, к которому я обращался в поисках Хельги, сообщило мне, что Вернер Нот умер.

Подробности его смерти стали мне известны случайно, в парикмахерской Гринвич Вилледж. Ожидая своей очереди, я перелистывал журнал для женщин и с восхищением думал, что за удивительные создания женщины. История, рекламировавшаяся на журнальной обложке, называлась «Вешательницы берлинского вешателя». Я не мог предположить, что это статья о моем тесте. Вешанье было не его дело. Я обратился к самой статье.

И я довольно долго смотрел на потемневшую фотографию Вернера Нота, повешенного на яблоне, даже не подозревая, кто это. Я смотрел на лица людей, присутствовавших при повешении. Это были в основном женщины, безликие, бесформенные оборванки.

И я стал играть в игру — подсчитывать, сколько раз наврала обложка журнала. Во-первых, женщины никого не вешали. Это делали трое тощих мужчин в отрепьях. Во-вторых, женщины на фотографии были некрасивы, а вешательницы на обложке были красавицы. У вешательниц на обложке груди были, как дыни, бедра крутые, как лошадиные хомуты, а их отрепья — живописно растрепанное неглиже фирмы Шапарелли. Женщины на фотографии были хороши, как дохлые рыбины, завернутые в полосатые наматрасники.

И еще не начав читать о повешении, я с содроганием постепенно узнавал разрушенное здание на заднем плане фотографии. Позади повешенного, словно челюсть с выбитыми зубами, виднелось то, что осталось от дома Вернера Нота, дома, в котором в истинно германском духе была воспитана моя Хельга и где я сказал «прощай» десятилетней нигилистке по имени Рези.

Я прочел текст.

Он был написан человеком по имени Ян Вестлейк и был сделан очень хорошо. Вестлейк, англичанин, освобожденный военнопленный, видел это повешение вскоре после того, как его освободили русские. Фотографии делал тоже он.

Нот, писал он, был повешен на собственной

яблоне рабынями, угнанными в основном из Польши и России, жившими неподалеку. Вестлейк не называл моего тестя «берлинским вешателем».

Вестлейк не без труда выяснил, в каких преступлениях обвинялся Вернер Нот, и заключил, что Нот был не хуже и не лучше любого шефа полиции крупного города.

«Террор и пытки входили в компетенцию других отделов германской полиции, — писал Вестлейк. — В компетенцию Вернера Нота входило то, что связано с поддержанием закона и порядка в каждом большом городе. Силы, которыми он руководил, боролись с пьяницами, ворами, убийцами, насильниками, грабителями, мошенниками, проститутками и другими возмутителями спокойствия, а также делали все возможное, чтобы поддержать в городе движение транспорта».

«Главная вина Нота была в том, — писал Вестлейк, — что он передавал подозреваемых в различных проступках и преступлениях в систему правосудия и наказания, которая была безумна. Нот делал все от него зависящее, чтобы отличить виновных от невиновных, используя наиболее современные полицейские методы, но

те, кому он передавал своих арестованных, считали, что это различие не имеет значения. Любой задержанный считался преступником, судили его или нет. Все заключенные всячески унижались, доводились до крайности и уничтожались».

Вестлейк далее писал, что рабыни, повесившие Нота, точно не знали, кто он, но понимали, что он важная шишка. Они повесили его, потому что хотели получить удовлетворение от повешения какого-нибудь важного лица.

Дом Нота, по словам Вестлейка, был разрушен русской артиллерией, однако Нот продолжал жить в одной из уцелевших задних комнат. Вестлейк осмотрел эту комнату и обнаружил в ней кровать, стол и подсвечник. На столе Нота в рамках были фотографии Хельги, Рези и жены.

Он нашел там и книгу. Это был немецкий перевод сочинения Марка Аврелия «Наедине с собой».

Не объяснялось, почему этот прекрасный материал напечатал такой второстепенный журнал. Редакция не сомневалась, что читательницам будет интересно само описание повешения.

Мой тесть стоял на маленькой табуретке высотой в четыре дюйма. Веревка была накинута на его шею и крепко закреплена за ветку яблони.

Затем табуретку выбили из-под него. Он мог плясать на земле, пока задыхался.

Неплохо?

Его вешали девять раз: восемь раз он приходил в себя.

Только после восьмого повешения от потерял последние капли достоинства и мужества. Только после восьмого повешения он начал вести себя как ребенок, которого мучают.

«За этот спектакль он был награжден тем, чего желал более всего, — писал Вестлейк. — Он был награжден смертью. Он умер с эрекцией, и ноги его были босые».

Я перевернул страницу посмотреть, нет ли чего-нибудь еще. Там было кое-что, но совсем не об этом. Там во всю страницу была фотография красотки с широко раздвинутыми ногами и высунутым языком.

## Глава двадцать первая.
## Мой лучший друг…

Я уже говорил, что украл тот мотоцикл, на котором в последний раз приехал к Вернеру Ноту. Я должен это объяснить.

В сущности, я его не крал. Я просто одолжил его навечно у Хейнца Шильдкнехта, моего партнера по парному пинг-понгу, моего ближайшего друга в Германии.

Мы частенько выпивали вместе, разговаривали до поздней ночи, особенно после того, как оба потеряли своих жен.

— Я чувствую, что могу рассказать тебе все, абсолютно все, — сказал он мне однажды вечером в конце войны.

— Я чувствую то же самое, Хейнц, по отношению к тебе, — сказал я.

— Все, что у меня есть, — твое.

— Все, что у меня есть, — твое, Хейнц.

Собственность наша тогда была минимальна. Ни один из нас не имел дома, наша недвижимость и мебель были разбиты вдребезги. У меня были часы, пишущая машинка и велосипед,

и это почти все. Хейнц уже давно обменял на черном рынке свои часы, пишущую машинку и даже обручальное кольцо на сигареты. Все, что у него осталось в этой юдоли печали, кроме моей дружбы и того, что на нем было надето, был мотоцикл.

— Если когда-нибудь что-нибудь случится с мотоциклом, — сказал он мне, — я нищий. — Он оглянулся посмотреть, не подслушивает ли кто-нибудь. — Я скажу тебе что-то ужасное.

— Не говори, если не хочешь.

— Я хочу, — сказал он. — Тебе я могу рассказать. Я собираюсь рассказать тебе нечто страшное.

Обычно мы пили и разговаривали в доте недалеко от общежития, где мы ночевали. Он был построен совсем недавно для обороны Берлина, построен рабами. Он был еще не оборудован и не укомплектован солдатами. Русские были еще не так близко.

Мы с Хейнцем сидели здесь с бутылкой и свечой, и он говорил мне ужасные вещи. Он был пьян.

— Говард, я люблю свой мотоцикл больше, чем любил жену, — сказал он.

— Я хочу быть твоим другом и хочу верить всему, что ты говоришь, — сказал я ему, — но в

это я отказываюсь поверить. Забудем, что ты это сказал, потому что это неправда.

— Нет, — сказал он. — Сейчас одна из тех минут, когда говорят правду, одна из тех редких минут. Люди почти никогда не говорят правду, но я сейчас говорю правду. Если ты мне друг, — а я надеюсь, что это так, — ты поверишь другу, который говорит правду.

— Ладно.

Слезы потекли по его щекам.

— Я продал ее драгоценности, ее любимую мебель, один раз даже ее карточки на мясо — все себе на сигареты.

— Мы все делаем вещи, которых потом стыдимся, — сказал я.

— Я не бросил курить ради нее, — сказал Хейнц.

— У нас у всех есть дурные привычки.

— Когда бомба попала в нашу квартиру и убила ее, у меня остался только мотоцикл, — сказал он. — На черном рынке мне предлагали четыре тысячи сигарет за мотоцикл.

— Я знаю, — сказал я. Он всегда рассказывал мне эту историю, когда напивался.

— И я сразу бросил курить, — сказал он, — потому что я так любил мотоцикл.

— Каждый из нас за что-то цепляется, — сказал я.

— Не за то, за что надо, и слишком поздно. Я скажу тебе единственную вещь, в которой я действительно убежден.

— Хорошо, — сказал я.

— Все люди — сумасшедшие. Они способны делать все, что угодно и когда угодно, и только Бог поможет тому, кто доискивается причин.

Что касается женщин типа жены Хейнца: я был знаком с ней только поверхностно, хотя видел довольно часто. Она безостановочно болтала, из-за чего ее было трудно узнать поближе, а тема была всегда одна и та же: преуспевающие люди, не упускающие своих возможностей, люди, в противоположность ее мужу, важные и богатые.

— Молодой Курт Эренс, — обычно говорила она, — всего двадцать шесть, а уже полковник СС! А его брат Хейнрих — ему не более тридцати четырех, а у него под началом восемнадцать тысяч иностранных рабочих, и все строят противотанковые рвы. Говорят, Хейнрих знает о противотанковых рвах больше всех на свете, а я всегда с ним танцевала.

Снова и снова она повторяла все это, а на заднем плане бедный Хейнц прокуривал свои

мозги. Из-за нее я стал глух ко всем историям с преуспеваниями. Люди, которых она считала преуспевающими в этом прекрасном новом мире, вознаграждались в конце концов как специалисты по рабству, уничтожению и смерти. Я не склонен считать людей, работающих в этих областях, преуспевающими.

Когда война стала подходить к концу, мы с Хейнцем уже не могли выпивать в нашем доте. Там было установлено восьмидесяти восьми дюймовое орудие, команда которого была укомплектована мальчиками пятнадцати-шестнадцати лет. Это тоже подходящая история об успехе для покойной жены Хейнца — такие молоденькие мальчики, а уже во взрослой форме и со своей собственной вооруженной до зубов западней смерти.

И мы с Хейнцем пили и разговаривали там, где ночевали, — в манеже, набитом оставшимися при бомбежках без крова государственными рабочими, спавшими на соломенных матрацах. Мы прятали бутылку, так как не желали ни с кем ее делить.

— Хейнц, — сказал я ему как-то ночью. — Хотел бы я знать, насколько ты мне действительно друг.

Он обиделся.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Я хотел бы попросить тебя об очень большом одолжении, но не знаю, могу ли, — сказал я.

— Я требую, чтобы ты сказал!

— Одолжи мне свой мотоцикл, чтобы я мог навестить завтра родственников моей жены, — сказал я.

Он не поколебался, не дрогнул.

— Возьми его! — сказал он.

И утром я взял мотоцикл.

Мы выехали утром бок о бок: Хейнц на моем велосипеде, я на его мотоцикле.

Я нажал на стартер, включил передачу и… припустил, оставив моего лучшего друга улыбающимся в облаке голубых выхлопных газов.

И я погнал, тр… тр… тр…

И он больше никогда не увидел ни своего мотоцикла, ни своего лучшего друга.

Я запрашивал Институт документации военных преступников в Хайфе, знают ли они что-нибудь о Хейнце, хотя, в сущности, он не был военным преступником. Институт порадовал меня сообщением, что Хейнц сейчас в Ирландии, он главный управляющий барона Ульриха Вертера фон Швефельбада. Фон Швефельбад после войны

купил большое поместье в Ирландии.

Институт сообщил мне, что Хейнц давал показания по делу о смерти Гитлера, потому что случайно оказался в бункере Гитлера, когда облитое бензином тело горело, но было еще узнаваемо.

Привет отсюда, Хейнц, если ты это прочтешь.

Я действительно любил тебя, насколько я способен кого-нибудь любить.

Ты, я вижу, тоже хоть кого вокруг пальца обведешь!

Что ты делал в бункере Гитлера — искал свой мотоцикл и своего лучшего друга?

## Глава двадцать вторая. Содержимое старого чемодана…

— Послушай, — сказал я моей Хельге в Гринвич Вилледж после того, как рассказал ей то немногое, что знал о ее матери, отце и сестре, — эта мансарда не может быть любовным гнездышком даже и на одну ночь. Мы возьмем такси. Поедем в какую-нибудь гостиницу. А завтра мы выкинем все это барахло и купим все совершенно новое. А потом поищем действительно приятное место для жилья.

— Я очень счастлива и тут, — сказала она.

— Завтра, — сказал я, — мы найдем кровать, такую же, как наша старая — две мили в длину и три в ширину и с изголовьем, прекрасным, как закат солнца в Италии. Помнишь? О боже, помнишь?

— Да, — сказала она.

— Сегодняшняя ночь в гостинице, а завтрашняя в такой постели.

— Мы едем сию минуту?

— Как скажешь.

— Можно я сначала покажу тебе мои подарки?

— Подарки?

— Подарки для тебя.

— Ты — мой подарок. Что мне еще надо?

— Это тебе, наверное, тоже надо, — сказала она, открывая замки чемодана. — Надеюсь, надо. — Она раскрыла чемодан. Он был набит рукописями. Ее подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти каждое искреннее слово, когда-либо написанное мною, прежним Говардом У. Кемпбэллом-младшим. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма, одна неопубликованная книга — собрание сочинений жизнерадостного, свободного, молодого, очень молодого человека.

— Какое у меня странное чувство, — сказал я.

— Мне не надо было это привозить?

— Сам не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мною. — Я взял рукопись книги — причудливый эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы». — Это надо было сжечь, — сказал я.

— Я скорее сожгла бы свою правую руку.

Я отложил книгу, взял связку стихов.

— Что мог сказать о жизни этот юный незнакомец? — сказал я и прочел вслух стихи, немецкие стихи:

*Kühl und hell der Sonnenaufgang,*
*leis und süss der Glocke Klang.*
*Ein Mägdlein hold, Krug in der Hand,*
*sitzt an des tiefen Brunnens Rand.*

А в переводе? Примерно так:

*Свежий ясный восход,*
*Колокол сладко звенит.*
*Юная дева с кувшином*
*В глубокий колодец глядит.*

Я прочитал это стихотворение вслух, затем еще одно. Я был и остался очень плохим поэтом. Я привожу эти стихи не для того, чтобы мной восхищались. Второе стихотворение, которое я прочел, было, я думаю, предпоследнее из написанных мною. Оно датировалось 1937 годом и называлось: «Gedanken über unseren Abstand vom Zeitgeschehen», или, в переводе, «Размышления о неучастии в текущих событиях».

Оно звучало так:

*Eine mächtige Damvfwalze naht und schwärzt der Sonne vfad,*
*rollt über geduckte Menschen dahin,*
*will keiner ihr entfliehn.*

*Mein Lieb und ich schaun starren Blickes*
*das Rätsel dieses Blutgeschickes.*
*“Kommt mit herab”, die Menschheit schreit,*
*“Die Walze ist die Geschichte der Zeit!”*
*Mein Zieb und ich geht auf die Flucht,*
*wo keine Damvfwalze uns sucht,*
*und leben auf den Bergeshöhen,*
*getrennt vom schwarzen Zeitgeschehen.*
*Sollen wir bleiben mit den andern zu sterben?*
*Doch*
*nein, wir zwei wollen nicht verderben!*
*Nun ist’s vorbei! – Wir sehn mit Erbleichen*
*die Ovfer der Walze, verfaulte Leichen.*

В переводе:

*Мчит огромный паровой каток,*
*Закрывая солнца свет.*
*Все кидаются наземь, наземь,*
*Считая – спасенья нет.*
*Мы глядим потрясенно, я и любимая,*
*На кровавую эту мистерию.*
*«Наземь!» – все вокруг кричат. –*

*«Эта машина – история!»*
*Но мы убегаем в горы, прочь,*
*Я и любимая.*
*Нас катку не догнать.*
*Позади осталась история!*
*Мы не хотим умереть, как все,*
*Вернуться вниз, назад.*
*Нам сверху видно, что за катком*
*Смердящие трупы лежат.*

— Каким образом все это оказалось у тебя? — спросил я у Хельги.

— Когда я приехала в Западный Берлин, — сказала она, — я пошла в театр узнать, сохранился ли он, остался ли кто-нибудь из знакомых и есть ли у кого-нибудь сведения о тебе. — Ей не надо было объяснять мне, какой театр она имела в виду. Она имела в виду маленький театр в Берлине, где шли мои пьесы и где Хельга часто играла ведущие роли.

— Я знаю, он просуществовал почти до конца войны, — сказал я. — Он еще существует?

— Да, — сказал она. — И когда я спросила о тебе, никто ничего не знал. А когда я рассказала им, кем ты когда-то был для этого театра, кто-то

вспомнил, что на чердаке валяется чемодан, на котором написана твоя фамилия.

Я погладил рукописи.

— И в нем было это, — сказал я. — Теперь я вспомнил чемодан, вспомнил, как я закрыл его в начале войны, вспомнил, как подумал тогда, что чемодан — это гроб, где похоронен молодой человек, которым я никогда больше не буду.

— У тебя есть копии этих вещей? — спросила она.

— Совершенно ничего, — сказал я.

— Ты больше не пишешь?

— Не было ничего, что я хотел бы сказать.

— После всего, что ты видел и пережил, дорогой?

— Именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас ничего сказать. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же.

— Здесь было еще одно стихотворение, наверное, последнее, оно было написано карандашом для бровей на внутренней стороне крышки чемодана, — сказала она.

— Неужели? — сказал я.

Она продекламировала его мне:

*Hier liegt Howard Camvbells Geist geborgen,*

*frei von des Körvers quälenden Sorgen.*

*Sein leerer Leib durchstreift die Welt,*

*und kargen Lohn dafür erhält.*

*Triffst du die beiden getrennt allerwärts,*

*verbrenn den Leib, doch schone dies, sein Herz.*

В переводе:

*Вот сущность Говарда Кемпбэлла бедного,*

*Отделенная от тела его бренного.*

*Тело пустое по белому свету шныряет,*

*Что ему нужно для жизни, себе выбирает.*

*И раз уж у сущности с телом так разошелся путь,*

*Тело его сожгите, но пощадите суть.*

Раздался стук в дверь.

Это Джордж Крафт стучал ко мне в дверь, и я его впустил.

Он был очень взбудоражен, потому что исчезла его кукурузная трубка. Я впервые видел его без

трубки, впервые он продемонстрировал, как необходима трубка для его спокойствия. Он был так расстроен, что чуть не плакал.

— Кто-то взял ее или куда-то засунул. Не понимаю, кому она понадобилась, — скулил он. Он ожидал, что мы с Хельгой разделим его горе, видно, он считал исчезновение трубки главным событием дня.

Он был безутешен.

— Почему кто-то вообще трогал трубку? — сказал он. — Кому это было надо?

Он разводил руками, часто мигал, сопел, вел себя как наркоман с синдромом абстиненции, хотя никогда ничего не курил.

— Скажите мне, — повторял он, — почему кто-то взял мою трубку?

— Не знаю, Джордж, — сказал я раздраженно. — Если мы ее найдем, дадим тебе знать.

— Можно я поищу ее сам?

— Давай.

И он перевернул все вверх дном, гремя кастрюлями и сковородками, хлопая дверьми буфета, с лязгом шуруя кочергой под батареями.

Что сделал этот спектакль для нас с Хельгой, так это сблизил нас, привел нас к таким близким отношениям, к которым мы пришли бы еще не

скоро.

Мы стояли бок о бок, возмущенные вторжением в наше государство двоих.

— Это ведь не очень ценная трубка? — спросил я.

— Очень ценная — для меня, — сказал он.

— Купи другую.

— Я хочу эту, я к ней привык. Я хочу именно эту. — Он открыл хлебницу, заглянул туда.

— Может, ее взяли санитары? — предположил я.

— Зачем она им? — сказал он.

— Может, они подумали, что она принадлежит умершему. Может, они сунули ее ему в карман? — сказал я.

— Вот именно! — заорал Крафт и выскочил в дверь.

## Глава двадцать третья.
## Глава шестьсот сорок три…

Как я уже говорил, в чемодане Хельги среди прочего была моя книга. Это была рукопись. Я никогда не собирался ее публиковать. Я считал, что ее может напечатать разве только издатель порнографии.

Она называлась «Мемуары моногамного Казановы». В ней я рассказывал, как обладал сотнями женщин, которыми для меня была моя жена, моя единственная Хельга. В этом было что-то патологическое, болезненное, можно сказать, безумное. Это был дневник, запись день за днем нашей эротической жизни первых двух военных лет — и ничего больше. Там не было даже никаких указаний ни на век, ни на континент.

Там были только мужчина и только женщина в самых разных настроениях. Обстановка обрисовывалась весьма приблизительно и то лишь в самом начале, а затем и вовсе исчезла.

Хельга знала, что я веду этот странный дневник. Это был один из многих способов поддержать на накале наш секс. Книга была не только

описанием эксперимента, но и частью самого эксперимента — неловкого эксперимента мужчины и женщины, безумно привязанных друг к другу сексуально.

И более того.

Являвшихся друг для друга целиком и полностью смыслом существования, достаточным, даже если бы не было никакой другой радости.

Эпиграф к книге, я думаю, попадал прямо в точку.

Это стихотворение Вильяма Блейка «Ответ на вопрос»:

*Что в женщине мужчина ищет?*
*Лишь утоленное желанье.*
*В мужчине женщина что ищет?*
*Лишь утоленное желанье.*

Здесь уместно добавить последнюю главу к «Мемуарам», главу 643, где описывается ночь, которую я провел с Хельгой в нью-йоркском отеле после того, как прожил столько лет без нее.

Я оставляю на усмотрение деликатного и искушенного издателя заменить невинными многоточиями все то, что может шокировать читателя.

Мемуары моногамного Казановы, глава 643

Мы были в разлуке шестнадцать лет. Вожделение мое этой ночью началось с кончиков пальцев. Постепенно оно охватило… другие части моего тела, и они были удовлетворены вечным способом, удовлетворены полностью, с… клиническим совершенством. Ни одна клеточка моего тела и, я уверен, моей жены тоже не осталась неудовлетворенной, не могла пожаловаться ни на досадную поспешность, ни на тщетность усилий, ни на… непрочность постройки. И все же наибольшего совершенства достигли кончики моих пальцев…

Это вовсе не означает, что я оказался стариком, не способным дать женщине ничего, кроме радостей… любовной прелюдии. Напротив, я был не менее… проворным любовником, чем семнадцатилетний… юноша со своей… девушкой.

И так же полон жажды познавать.

И эта жажда жила в моих пальцах.

Дерзкие, изобретательные, умные, эти… труженики, эти… стратеги…, эти… разведчики, эти… меткие стрелки исследовали свою территорию.

И все, что они находили, было прекрасно…

Этой ночью моя жена была… рабыней в постели… императора, она, казалось, ничего не

слышала и даже не могла произнести ни слова на моем языке. И тем не менее, как выразительна она была, все говорили ее глаза, ее… дыхание, она не могла, не хотела сдерживать их…

И как до каждой жилки было знакомо и просто то, что говорило ее… тело… Это был рассказ ветра о ветре, розового куста о розе…

После нежных умных благодарных моих пальцев вступили другие инструменты наслаждения, полные нетерпения, лишенные памяти и условностей. Их моя рабыня принимала с жадностью… пока Мать-Природа, повелевавшая нашими самыми непомерными желаниями, уже не могла требовать большего. Мать-Природа сама возвестила конец игры… Мы откатились друг от друга…

Мы заговорили членораздельно впервые после того, как легли.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — сказал я.

— Добро пожаловать домой, — сказала она.

Конец главы 643

На следующее утро небо было чистое, высокое, ясное, словно волшебный купол, хрупкий и звенящий, словно огромный стеклянный колокол.

Мы с Хельгой бойко вышли из отеля. Я был

неистощим в своей учтивости, а моя Хельга была не менее великолепна в своем внимании и благодарности. Мы провели фантастическую ночь.

Я был одет не в свои военные излишки. Я был в том, что надел, когда удрал из Берлина и сорвал с себя форму Свободного Американского Корпуса. На мне было пальто с меховым воротником, как у импресарио, и синий шерстяной костюм — то, в чем меня схватили.

Причуды ради я был с тростью. Я делал потрясающие штуки с этой тростью: демонстрировал затейливые ружейные приемы, вращал ее, как Чаплин, играл ею, как в поло, объедками в водосточных канавах.

И все это время маленькая ручка моей Хельги скользила в бесконечном эротическом исследовании чувственной зоны между локтем и тугим бицепсом моей левой руки.

Мы шли покупать кровать, такую, как была у нас в Берлине.

Но все магазины были закрыты. День не был воскресеньем и, как мне казалось, не был праздником. Когда мы дошли до Пятой авеню, там, насколько видел глаз, развевались американские флаги.

— Великий Боже! — воскликнул я в изумле-

нии.

— Что это значит? — спросила Хельга.

— Может, ночью объявили войну? — сказал я. Она судорожно сжала пальцами мою руку.

— Ты ведь так не думаешь, правда? — сказала она. Она думала, что это возможно.

— Я шучу, — сказал я. — Наверное, какой-то праздник.

— Какой праздник? — спросила она.

Я был в недоумении.

— Как твой хозяин в этой чудесной стране я должен был бы объяснить тебе глубокое значение этого великого дня в нашей национальной жизни, но мне ничего не приходит в голову.

— Ничего?

— Я так же озадачен, как и ты. Или как принц Камбоджи.

Одетый в форму негр подметал тротуар перед жилым домом. Его синяя с золотом форма поражала удивительным сходством с формой Свободного Американского Корпуса вплоть до последнего штриха — бледно-лавандовых полос вдоль штанин. Название дома было вышито на нагрудном кармане. «Лесной дом» называлось это место, хотя единственным деревом поблизости был саженец, подвязанный и закрепленный

железными оттяжками.

Я спросил негра, какой сегодня праздник.

Он сказал, что День ветеранов.

— Какое сегодня число? — спросил я.

— Одиннадцатое ноября, сэр, — ответил он.

— Одиннадцатое ноября — День перемирия, а не День ветеранов.

— Вы что, с луны свалились? Это изменено уже много лет назад.

— День ветеранов, — сказал я Хельге, когда мы пошли дальше. — Прежде это был День перемирия. Теперь День ветеранов.

— Это тебя расстроило? — спросила она.

— Это такая чертова дешевка, так чертовски типично для Америки, — сказал я. — Раньше это был день памяти жертв первой мировой войны, но живые не смогли удержаться, чтобы не заграбастать его, желая приписать себе славу погибших. Так типично, так типично. Как только в этой стране появляется что-то достойное, его рвут в клочья и бросают толпе.

— Ты ненавидишь Америку, да?

— Это так же глупо, как и любить ее, — сказал я. — Я не могу испытывать к ней никаких чувств, потому что недвижимость меня не интересует. Без сомнения, это мой большой минус, но я не

могу мыслить в рамках государственных границ. Эти воображаемые линии так же нереальны для меня, как эльфы и гномы. Я не могу представить себе, что эти границы определяют начало или конец чего-то действительно важного для человеческой души. Пороки и добродетели, радость и боль пересекают границы, как им заблагорассудится.

— Ты так изменился, — сказала она.

— Мировые войны меняют людей, иначе для чего же они? — сказал я.

— Может быть, ты так изменился, что больше меня не любишь? — сказала она. — Может быть, и я так изменилась…

— Как ты можешь это говорить после нашей ночи?

— Мы ведь еще ни о чем не поговорили, — сказала она.

— О чем говорить? Что бы ты ни сказала — это не заставит меня любить тебя больше или меньше. Наша любовь слишком глубока, слова ничего не значат для нее. Это любовь душ.

Она вздохнула.

— Как это прекрасно, если это правда. — Она сблизила ладони, но так, что они не касались друг друга. — Это наши любящие души.

— Любовь, которая может вынести все, — сказал я.

— Твоя душа чувствует сейчас любовь к моей душе?

— Безусловно, — сказал я.

— Ты не заблуждаешься? Ты не ошибаешься в своих чувствах?

— Ни в коем случае.

— И что бы я ни сказала, не сможет разрушить твою любовь?

— Ничто, — сказал я.

— Прекрасно. Я должна тебе сказать что-то, что боялась сказать раньше. Теперь я не боюсь.

— Говори, — сказал я с легкостью.

— Я не Хельга, — сказала она. — Я ее младшая сестра Рези.

## Глава двадцать четвертая. Полигамный казанова…

Когда она огорошила меня этой новостью, я повел ее в ближайшее кафе, где мы могли посидеть. В кафе были высокие потолки, беспощадный свет и адский шум.

— Почему ты так поступила? — спросил я.

— Потому что я люблю тебя, — сказала она.

— Как ты можешь любить меня?

— Я всегда любила тебя, с самого детства, — сказала она.

Я обхватил голову руками.

— Это ужасно.

— Я… я думала, что это прекрасно.

— Что же дальше? — сказал я.

— Разве это не может продолжаться?

— О, господи, как все запутано, — сказал я,

— Выходит, я нашла слова, способные убить любовь, — сказала она, — любовь, которую убить невозможно?

— Не знаю, — сказал я. Я покачал головой. — Какое странное преступление я совершил.

— Это я совершила преступление, — сказа-

ла она. — Я, должно быть, сошла с ума. Когда я сбежала в Западный Берлин и там мне велели заполнить анкету, где спрашивалось, кто я, чем занималась, кто мои знакомые…

— Эта длинная, длинная история, которую ты уже рассказывала, — сказал я, — о России, о Дрездене — есть в ней хоть доля правды?

— Сигаретная фабрика в Дрездене — правда, — сказала она. — Мой побег в Берлин — правда. И больше почти ничего. Вот сигаретная фабрика — чистая правда — десять часов в день, шесть дней в неделю, десять лет.

— Прости, — сказал я.

— Ты меня прости. Жизнь была слишком тяжела для меня, чтобы испытывать чувство вины. Муки совести для меня слишком большая роскошь, недоступная, как норковое манто. Мечты — вот что давало мне силы день за днем крутиться в этой машине, а я не имела на них права.

— Почему?

— Я все время мечтала быть не тем, кем я была.

— В этом нет ничего страшного, — сказал я.

— Есть, — сказала она. — Посмотри на себя. Посмотри на меня. Посмотри на нашу любовь. Я мечтала быть моей сестрой Хельгой. Хельга, Хель-

га, Хельга — вот кем я была. Прелестная актриса, жена красавца-драматурга — вот кем я была. А Рези — работница сигаретной фабрики, — она просто исчезла.

— Ты могла бы выбрать что-нибудь попроще, — сказал я.

Теперь она осмелела.

— А я и есть Хельга. Вот я кто! Хельга, Хельга, Хельга. Ты поверил в это. Что может быть лучшим доказательством? Ты ведь принял меня за Хельгу?

— Ну и вопрос, черт возьми, ты задаешь джентльмену, — сказал я.

— Имею я право на ответ?

— Ты имеешь право на ответ «да». Справедливость требует ответить «да», но я должен сказать, что и я оказался не на высоте. Мой разум, мои чувства, моя интуиция оказались не на высоте.

— Или, наоборот, на высоте, — сказала она, — и ты вовсе не был обманут.

— Скажи, что ты знаешь о Хельге? — спросил я.

— Она умерла.

— Ты уверена?

— А разве нет?

— Я не знаю.

— Я не слышала о ней ни слова, — сказала

она. — А ты?

— Я тоже.

— Живые подают голос, верно? — сказала она. — Особенно если они кого-нибудь любят так сильно, как Хельга тебя.

— Наверное, ты права.

— Я люблю тебя не меньше, чем Хельга, — сказала она.

— Спасибо.

— И ты обо мне слышал, — сказала она. — Это было не легко, но ты слышал.

— Действительно, — сказал я.

— Когда я попала в Западный Берлин и мне велели заполнить анкету — имя, занятие, ближайшие живые родственники, — я сделала выбор. Я могла быть Рези Нот, работницей сигаретной фабрики, совсем без родственников. Или Хельгой Нот, актрисой, женой красивого обаятельного блестящего драматурга в США. — Она наклонилась вперед. — Скажи, что я должна была выбрать?

Прости меня. Боже, я снова принял Рези как мою Хельгу.

Получив это второе признание, она понемногу начала показывать, что ее сходство с Хельгой не столь уж полное. Она почувствовала, что может

мало-помалу приучать меня к себе самой, к тому, что она отличается от Хельги.

Это постепенное раскрытие, отлучение от памяти Хельги началось, как только мы вышли из кафе. Она задала несколько покоробивший меня практический вопрос:

— Ты хочешь, чтобы я продолжала обесцвечивать волосы, или можно вернуть им настоящий цвет?

— А какие они на самом деле?

— Цвета меди.

— Прелестный цвет волос, — сказал я. — Хельгин цвет.

— Мои с рыжеватым оттенком.

— Интересно посмотреть.

Мы шли по Пятой авеню, и немного позже она спросила:

— Ты напишешь когда-нибудь пьесу для меня?

— Не знаю, смогу ли я еще писать.

— Разве Хельга не вдохновляла тебя?

— Вдохновляла, и не просто писать, а писать так, как я писал.

— Ты писал пьесы так, чтобы она могла в них играть.

— Верно, — сказал я. — Я писал для Хельги роли, в которых она играла квинтэссенцию Хельги.

— Я хочу, чтобы ты когда-нибудь сделал то же самое для меня, — сказала она.

— Может быть, я попытаюсь.

— Квинтэссенцию Рези. Рези Нот.

Мы смотрели на парад Дня ветеранов на Пятой авеню и я впервые услышал смех Рези. Он не имел ничего общего с тихим, шелестящим смехом Хельги. Смех Рези был радостным, мелодичным. Что ее особенно насмешило, так это барабанщицы, которые задирали высоко ноги, вихляли задами, жонглировали хромированными жезлами, напоминавшими фаллос.

— Я никогда ничего подобного не видела, — сказала она мне. — Для американцев война, должно быть, очень сексуальна. — Она захохотала и выпятила грудь, как будто хотела посмотреть, не получится ли из нее тоже хорошая барабанщица?

С каждой минутой она становилась все моложе, веселее, раскованнее. Ее снежно-белые волосы, которые ассоциировались сначала с преждевременной старостью, теперь напоминали о перекиси и девочках, удирающих в Голливуд.

Отвернувшись от парада, мы увидели витрину, где красовалась огромная позолоченная кровать, очень похожая на ту, которая когда-то была у нас

с Хельгой.

В витрине была видна не только эта вагнерианская кровать, в ней как призраки отражались я и Рези с парадом призраков на заднем плане. Эти бледные духи и такая реальная кровать составляли волнующую композицию. Она казалась аллегорией в викторианском стиле, великолепной картиной для какого-нибудь бара, с проплывающими знаменами, золоченой кроватью и двумя призраками, мужского и женского пола.

Что означала эта аллегория, я не могу сказать. Но могу предположить несколько вариантов. Мужской призрак выглядел ужасно старым, истощенным, побитым молью. Женский выглядел так молодо, что годился ему в дочери, был гладкий, задорный, полный огня.

## Глава двадцать пятая.
## Ответ коммунизму…

Мы с Рези брели обратно в мою крысиную мансарду, рассматривая в витринах мебель, выпивая здесь и там. В одном из баров Рези пошла в дамскую комнату, оставив меня одного. Один из посетителей заговорил со мной.

— Вы знаете, чем отвечать коммунизму? — спросил он.

— Нет, — сказал я.

— Моральным перевооружением.

— Что это, черт возьми? — сказал я.

— Это движение.

— В каком направлении?

— Движение Морального Перевооружения предполагает абсолютную честность, абсолютную чистоту, абсолютное бескорыстие и абсолютную любовь.

— Я искренне желаю им всем всех благ, — сказал я.

В другом баре мы встретили человека, который утверждал, что может удовлетворить, полностью удовлетворить за ночь семь совершенно разных

женщин.

— Я имею в виду действительно разных, — сказал он.

О Боже, что за жизнь люди пытаются вести.

О Боже, куда это их заведет!

## Глава двадцать шестая. В которой увековечены рядовой Ирвинг Буканон и некоторые другие…

Мы с Рези подошли к дому только после ужина, когда стемнело. Мы решили провести вторую ночь в отеле. Мы вернулись домой, потому что Рези хотелось помечтать о том, как мы преобразуем мансарду, поиграть в свой дом.

— Наконец у меня есть дом, — сказала она.

— Нужна куча средств, чтобы превратить это жилье в дом, — сказал я. Я увидел, что мой почтовый ящик снова полон. Я не стал вынимать почту.

— Кто это сделал? — сказала Рези.

— Что?

— Это, — сказала она, указывая на табличку с моей фамилией на почтовом ящике. Кто-то под моей фамилией нарисовал синими чернилами свастику.

— Это что-то новенькое, — сказал я беспокойно. — Может быть, нам лучше не подниматься. Может быть, тот, кто сделал это, там, наверху.

— Не понимаю, — сказала она.

— Ты приехала ко мне в неудачное время. У меня была уютная маленькая нора, которая бы нас так устроила.

— Нора?

— Дырка в земле, секретная и уютная. Но боже мой, — сказал я в отчаянии, — как раз перед твоим появлением некто обнаружил мою нору. — Я рассказал ей, как возродилась моя дурная слава. — Теперь хищники, вынюхавшие недавно вскрытую нору, окружают ее.

— Уезжай в другую страну, — сказала она.

— В какую другую?

— В любую, какая тебе нравится, — сказала она. — У тебя есть деньги, чтобы поехать, куда ты захочешь.

— Куда захочу, — повторил я.

И тут вошел лысый небритый толстяк с хозяйственной сумкой. Он оттолкнул плечом меня и Рези от почтового ящика, извинившись с неизвинительной грубостью.

— Звиняюсь, — сказал он. Он читал фамилии на почтовых ящиках, как первоклассник, водя пальцем по каждой, долго-долго изучая каждую фамилию.

— Кемпбэлл! — сказал он в конце концов с явным удовлетворением. — Говард У. Кемпб-

элл. — Он повернулся ко мне обвиняюще. — Вы его знаете?

— Нет, — сказал я.

— Нет, — повторил он, излучая злорадство. — Вы очень на него похожи. — Он вытащил из хозяйственной сумки «Дейли ньюс», раскрыл и сунул Рези. — Не правда ли, похож на джентльмена, который с вами?

— Дайте посмотреть, — сказал я. Я взял газету из ослабевших пальцев Рези и увидел ту давнюю фотографию, где я с лейтенантом О'Хара стою перед виселицами в Ордруфе.

В заметке под фотографией говорилось, что правительство Израиля после пятнадцатилетних поисков определило мое местонахождение.

Это правительство сейчас требует, чтобы Соединенные Штаты выдали меня Израилю для суда. В чем они хотят меня обвинить? Соучастие в убийстве шести миллионов евреев.

Человек ударил меня прямо через газету, прежде чем я успел что-нибудь сказать.

Я упал, ударившись головой о мусорный ящик.

Человек стоял надо мной.

— Прежде чем евреи посадят тебя в клетку в зоопарке, или что еще они там захотят с тобой сделать, — сказал он, — я хочу сам с тобой немно-

жечко поиграть.

Я тряс головой, пытаясь очухаться.

— Прочувствовал этот удар? — сказал он.

— Да.

— Это за рядового Ирвинга Буканона.

— Это вы?

— Буканон мертв, — сказал он. — Он был моим лучшим другом. В пяти милях от Омаха Бич. Немцы оторвали у него яйца и повесили его на телефонном столбе.

Он ударил меня ногой по ребрам, удерживая Рези рукой: «Это за Анзела Бруэра, раздавленного танком „Тигр“ в Аахене».

Он ударил меня снова: «Это за Эдди Маккарти, он был разорван на части снарядом в Арденнах. Эдди собирался стать доктором».

Он отвел назад свою огромную ногу, чтобы ударить меня по голове. «А это за…» — сказал он, и это было последнее, что я услышал. Удар был за кого-то, тоже убитого на войне. Я был избит до бесчувствия.

Потом Рези рассказала мне, что за подарок был для меня в его сумке и что он сказал напоследок.

«Я — единственный, кто не забыл эту войну, — сказал он мне, хотя я не мог его услышать. — Другие, как я понимаю, забыли, но только не я.

Я принес тебе это, чтобы ты избавил других от забот».

И он ушел.

Рези сунула веревочную петлю в мусорный ящик, где на следующее утро ее нашел мусорщик по имени Ласло Сомбати. Сомбати и в самом деле повесился на ней, но это уже другая история.

А теперь о моей истории.

Я пришел в себя на ломаной тахте в захламленной, жарко натопленной комнате, увешанной заплесневелыми фашистскими знаменами. Там был картонный камин, грошовый символ счастливого Рождества. В нем были картонные березовые поленья, красный электрический свет и целлофановые языки вечного огня.

Над камином висела цветная литография Адольфа Гитлера. Она была обрамлена черным шелком.

Я был раздет до своего оливкового нижнего белья и укрыт покрывалом под леопардовую шкуру. Я застонал, сел, и огненные ракеты впились мне в голову. Я посмотрел на леопардовую шкуру и что-то промычал.

— Что ты сказал, дорогой? — спросила Рези. Она сидела совсем рядом с тахтой, но я не заметил ее, пока она не заговорила.

— Не говори мне, — сказал я, заворачиваясь плотнее в леопардовую шкуру, — что я снова с готтентотами.

## Глава двадцать седьмая. Спасители – хранители…

Мои консультанты здесь, в тюрьме, — живые энергичные молодые люди — снабдили меня фотокопией статьи из нью-йоркской «Таймс», рассказывающей о смерти Ласло Сомбати, который повесился на веревке, предназначенной мне.

Значит, мне это не приснилось.

Сомбати отмочил эту шутку на следующую ночь после того, как меня избили.

Согласно «Таймс», он приехал в Америку из Венгрии, где в рядах Борцов за Свободу боролся против русских. Таймс сообщала, что он был братоубийцей, то есть убил своего брата Миклоша, помощника министра образования Венгрии.

Перед тем как уснуть навсегда, Сомбати написал записку и приколол ее к штанине. В записке не было ни слова о том, что он убил своего брата.

Он жаловался, что был уважаемым ветеринаром в Венгрии, а в Америке ему не разрешили практиковать. Он с горечью высказывался о свободе в Америке. Он считает, что она иллюзорна.

В финальном фанданго паранойи и мазохизма Сомбати закончил записку намеком, будто он знает, как лечить рак. Американские врачи, писал он, смеялись над ним, когда он пытался им об этом рассказать.

Ну, хватит о Сомбати.

Что касается комнаты, где я очнулся после того, как меня избили: это был подвал, оборудованный для Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции покойным Августом Крапптауэром, подвал доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Где-то выше работала печатная машина, выпускавшая листовки «Белого Христианского Минитмена».

Из какой-то другой комнаты в подвале, которая частично поглощала звук, доносился идиотски-монотонный треск учебной стрельбы.

После моего избиения первую помощь оказал мне молодой доктор Абрахам Эпштейн, который констатировал смерть Крапптауэра. Из квартиры Эпштейнов Рези позвонила доктору Джонсу и попросила совета и помощи.

— Почему Джонсу? — спросил я.

— Он — единственный человек в этой стране, которому я могу доверять, — сказала она. — Он — единственный человек, который, я уверена, на

твоей стороне.

— Чего стоит жизнь без друзей? — сказал я.

Я ничего не мог вспомнить, но Рези рассказала мне, что я пришел в себя в квартире Эпштейнов. Джонс посадил нас с Рези в свой лимузин, привез в больницу, где мне сделали рентген. Три ребра были сломаны, и меня забинтовали. Потом меня перевезли в подвал Джонса и уложили в постель.

— Почему сюда? — спросил я.

— Ты здесь в большей безопасности.

— От кого?

— От евреев.

Появился Черный Фюрер Гарлема, шофер Джонса, с подносом, на котором были яичница, тосты и горячий кофе. Он поставил поднос на столик возле меня.

— Болит голова? — спросил он.

— Да.

— Примите аспирин.

— Спасибо за совет.

— Мало что на этом свете действует, а вот аспирин действует, — сказал он.

— Республика — республика Израиль — хочет заполучить меня, — сказал я Рези с оттенком неуверенности, — чтобы… чтобы судить за… что

там говорится в газете?

— Доктор Джонс говорит, что американское правительство тебя не выдаст, — сказала Рези, — но евреи могут послать людей и выкрасть тебя, как они сделали с Адольфом Эйхманом.

— Такой ничтожный арестант, — пробормотал я.

— Дело не в том, что какие-то евреи будут просто гоняться за вами туда-сюда, — сказал Черный Фюрер.

— Что?

— Я хочу сказать, что у них теперь есть своя страна. Я имею в виду, что у них есть еврейские военные корабли, еврейские самолеты, еврейские танки. У них есть все еврейское, чтобы захватить вас, кроме еврейской водородной бомбы.

— Боже, кто это стреляет? — спросил я. — Нельзя ли прекратить, пока моей голове не станет легче?

— Это твой друг, — сказала Рези.

— Доктор Джонс?

— Джордж Крафт.

— Крафт? Что он здесь делает?

— Он отправляется с нами.

— Куда?

— Все решено, — сказала Рези. — Все считают,

дорогой, что лучше всего для нас убраться из этой страны. Доктор Джонс все устроил.

— Что устроил?

— У него есть друг с самолетом. Как только тебе станет лучше, дорогой, мы сядем в самолет, улетим в какое-нибудь прекрасное место, где тебя не знают, и начнем новую жизнь.

## Глава двадцать восьмая. Мишень...

И я отправился повидать Крафта здесь, в подвале Джонса. Я нашел его в начале длинного коридора, дальний конец которого был забит мешками с песком. К мешкам была прикреплена мишень в виде человека.

Мишень была карикатурой на курящего сигару еврея. Еврей стоял на разломанных крестах и маленьких обнаженных женщинах. В одной руке он держал мешок с деньгами, на котором была наклейка «Международное банкирство». В другой руке был русский флаг. Из карманов его костюма торчали маленькие, размером с обнаженных женщин под его ногами, отцы, матери и дети, которые молили о пощаде.

Все эти детали были не очень четко видны из дальнего конца тира, но мне не надо было подходить ближе, чтобы понять, что там изображено.

Я нарисовал эту мишень примерно в 1941 году.

Миллионы копий этой мишени были распространены по всей Германии. Она так восхитила моих начальников, что мне выдали премию в

виде десяти фунтов ветчины, тридцати галлонов бензина и недельного оплаченного пребывания для меня и жены в Schreibenhaus [9] в Ризенгебирге. Я должен признать, что эта мишень была результатом моего особого рвения, так как вообще я не работал на нацистов в качестве художника-графика. Я предлагаю это как улику против себя. Я думаю, что мое авторство — новость даже для Института документации военных преступников в Хайфе. Я, однако, подчеркиваю, что нарисовал этого монстра, чтобы еще больше упрочить свою репутацию нациста. Я так утрировал его, что он был бы смехотворен всюду, кроме Германии или подвала Джонса, и я нарисовал его гораздо более по-дилетантски, чем мог бы.

И тем не менее он имел успех.

Я был поражен его успехом. Гитлерюгенд и новобранцы СС не стреляли больше ни в какие другие мишени, и я даже получил письмо с благодарностью за них от Генриха Гиммлера.

«Это увеличило меткость моей стрельбы на сто процентов, — написал он. — Какой чистый ариец, глядя на эту великолепную мишень, не будет стараться убить?»

---

**[9] Примечания: 9**
Schreibenhaus (*нем.*) — дом для писателей.

Наблюдая за пальбой Крафта по этой мишени, я впервые понял причину ее популярности. Дилетантство делало ее похожей на рисунки на стенах общественной уборной; вызывало в памяти вонь, нездоровый полумрак, звук спускаемой воды и отвратительное уединение стойла в общественной уборной — в точности отражало состояние человеческой души на войне.

Я даже не понимал тогда, как хорошо я это нарисовал. Крафт, не обращая внимания на меня в моей леопардовой шкуре, выстрелил снова. Он стрелял из люгера, огромного, как осадная гаубица. Люгер был рассверлен до двадцать второго калибра, однако стрелял с легким свистом и без отдачи. Крафт выстрелил опять, и из мешка в двух футах левее мишени посыпался песок.

— Попытайся открыть глаза, когда будешь стрелять в следующий раз, — сказал я.

— А, — сказал он, опуская пистолет, — ты уже встал.

— Да.

— Как ужасно получилось.

— Да уж.

— Правда, нет худа без добра. Может быть, мы все смоемся отсюда и будем благодарить Бога за то, что произошло.

— Почему?

— Это выбило нас из колеи.

— Это уж точно.

— Когда ты со своей девушкой выберешься из этой страны, найдешь новое окружение, новую личину, ты снова начнешь писать, и ты будешь писать в десять раз лучше, чем раньше. Подумай о зрелости, которую ты внесешь в свои творения!

— У меня сейчас очень болит голова.

— Она скоро перестанет болеть. Она не разбита, она наполнена душераздирающе ясным пониманием самого себя и мира.

— Ммм… мм, — промычал я.

— Как художник и я от перемены стану лучше. Я никогда раньше не видел тропиков — этот резкий сгусток цвета, этот зримый звенящий зной.

— При чем тут тропики? — спросил я.

— Я думал, мы поедем именно туда. И Рези тоже хочет туда.

— Ты тоже поедешь?

— Ты возражаешь?

— Вы тут развили бурную деятельность, пока я спал.

— Разве это плохо? Разве мы запланировали что-то, что тебе не подходит?

— Джордж, — сказал я. — Почему ты хочешь

связать свою судьбу с нами? Зачем ты спустился в этот подвал с навозными жуками? У тебя нет врагов. Свяжись ты с нами, Джордж, и ты приобретешь всех моих врагов.

Он положил руку мне на плечо, заглянул прямо в глаза.

— Говард, — сказал он, — с тех пор, как умерла моя жена, у меня не было привязанности ни к чему в мире. Я тоже был бессмысленным осколком государства двоих, а потом я открыл нечто, чего раньше не знал, — что такое истинный друг. Я с радостью связываю свою судьбу с тобой, дружище. Ничто другое меня не интересует. Ничто ни в малейшей степени меня не привлекает. С твоего позволения, для меня и моих картин нет ничего лучше, чем последовать за тобой, куда поведет тебя Судьба.

— Да, это действительно дружба, — сказал я.

— Надеюсь, — отозвался он.

## Глава двадцать девятая.
## Адольф Эйхман и я…

Два дня я провел в этом подозрительном подвале беспомощным созерцателем.

Когда меня избивали, одежда моя порвалась. И из хозяйства Джонса мне выделили другую одежду. Мне дали черные лоснящиеся брюки отца Кили, серебристого оттенка рубашку доктора Джонса, рубашку, которая когда-то была частью формы покойной организации американских фашистов, называвшейся довольно откровенно — «Серебряные рубашки». А Черный Фюрер дал мне короткое оранжевое спортивное пальтишко, которое сделало меня похожим на обезьянку шарманщика.

И Рези Нот и Джордж Крафт трогательно составляли мне компанию — не только ухаживали за мной, но и мечтали о моем будущем и все планировали за меня. Главная мечта была — как можно скорее убраться из Америки. Разговоры, в которых я почти не участвовал, пестрели названиями разных мест в теплых странах, предположительно райских: Акапулько… Минорка…

Родос… даже долины Кашмира, Занзибар и Андаманские острова.

Новости из внешнего мира не делали мое дальнейшее пребывание в Америке привлекательным или хотя бы возможным. Отец Кили несколько раз в день выходил за газетами, а для дополнительной информации у нас была болтовня радио.

Республика Израиль продолжала требовать моей выдачи, подстегиваемая слухами, что я не являюсь гражданином Америки и фактически человек без гражданства. Развернутая Израилем кампания претендовала и на воспитательное значение — показать, что пропагандист такого калибра, как я, — такой же убийца, как Гейдрих, Эйхман, Гиммлер или любой из подобных мерзавцев.

Возможно. Я-то надеялся, что как обозреватель я просто смешон, но в этом жестоком мире, где так много людей лишены чувства юмора, мрачны, не способны мыслить и так жаждут слепо верить и ненавидеть, нелегко быть смешным. Так много людей хотели верить мне.

Сколько бы ни говорилось о сладости слепой веры я считаю, что она ужасна и отвратительна.

Западная Германия вежливо запросила Соеди-

ненные Штаты, не являюсь ли я их гражданином. Сами немцы не могли установить моего гражданства, так как все документы, касающиеся меня, сгорели во время войны. Если я — гражданин Штатов, то они так же, как Израиль, хотели бы заполучить меня для суда.

Если я — гражданин Германии, заявляли они, то они стыдятся такого немца.

Советская Россия в грубых выражениях, прозвучавших подобно шарикам от подшипника, брошенным на мокрый гравий, заявила, что нет никакой необходимости в процессе. Такого фашиста надо раздавить, как таракана.

Но что действительно смердело внезапной смертью, так это гнев моих соотечественников. В наиболее злобных газетах без комментариев публиковались письма, в которых предлагалось в железной клетке провезти меня через всю страну: письма героев, добровольно желавших принять участие в моем расстреле, как будто владение стрелковым оружием — искусство, доступное лишь избранным; письма от людей, которые сами не собирались ничего делать, но верили в американскую цивилизацию и потому считали, что есть более молодые, более решительные граждане, которые знают, как надо действовать.

И эти последние были правы. Сомневаюсь, что на свете когда-либо существовало общество, в котором не было бы сильных молодых людей, жаждущих экспериментировать с убийством, если это не влечет за собой жестокого наказания.

Судя по газетам и радио, справедливо разгневанные граждане сделали свое дело — ворвались в мою крысиную мансарду, разбивая окна, круша и расшвыривая мои вещи. Ненавистная мансарда была теперь под круглосуточным надзором полиции.

В редакционной статье нью-йоркской «Пост» подчеркивалось, что полиция едва ли сможет защитить меня, так как мои враги столь многочисленны и их озлобленность столь естественна. Что необходимо, безнадежно говорилось в Пост, так это батальон морской пехоты, который будет защищать меня до конца моих дней.

Нью-йоркская «Дейли ньюс» считала моим тягчайшим военным преступлением, что я не покончил с собой как джентльмен. Выходило, что Гитлер был джентльменом.

«Ньюс» напечатала письмо Бернарда О'Хара, человека, который взял меня в плен в Германии и недавно написал мне письмо, размноженное под копирку.

«Я хочу сам расправиться с ним, — писал О'Хара. — Я заслужил это. Это я схватил его в Германии. Если бы я знал, что он удерет, я бы размозжил ему голову там, на месте. Если кто-нибудь встретит Кемпбэлла раньше, чем я, пусть передаст ему, что Берни О'Хара летит к нему беспосадочным рейсом из Бостона».

Нью-йоркская «Таймс» писала, что терпеть и даже защищать такое дерьмо, как я, — парадоксальная неизбежность истинно свободного общества.

Правительство Соединенных Штатов, сказала мне Рези, не намерено выдать меня Израилю. Это не предусмотрено законом.

Правительство Соединенных Штатов, однако, обещало произвести полное и открытое расследование моего запутанного случая, чтобы точно выяснить мой гражданский статус и выяснить, почему я даже никогда не привлекался к суду.

Правительство выразило вызвавшее у меня тошноту удивление по поводу того, что я вообще нахожусь в стране.

Нью-йоркская «Таймс» опубликовала мою фотографию в молодые годы, официальную фотографию тех лет, когда я был нацистом и кумиром международного радиовещания. Я могу только

догадываться, когда был сделан этот снимок, думаю, в 1941-м.

Арндт Клопфер, сфотографировавший меня, приложил все силы, чтобы сделать меня похожим на напомаженного Иисуса с картин Максфилда Перриша.[10] Он даже снабдил меня неким подобием нимба, умело расположив позади меня размытое световое пятно. Такой нимб был не только у меня. Таким нимбом снабжался каждый клиент Клопфера, включая Адольфа Эйхмана.

Про Эйхмана я это знаю точно, даже без подтверждения Института в Хайфе, так как он фотографировался в ателье Клопфера как раз передо мной. Это был единственный случай, когда я встретился с Эйхманом в Германии. Второй раз я его встретил здесь, в Израиле, всего две недели назад, в тот короткий период, когда я сидел в тюрьме в Тель-Авиве.

Об этой встрече старых друзей: я был уже двадцать четыре часа в заключении в Тель-Авиве. По дороге в мою камеру охранники остановили меня перед камерой Эйхмана, чтобы послушать, о чем мы будем разговаривать, если заговорим.

Мы не узнали друг друга, и охранники нас

---

**[10] Примечания: 10**

*Перриш Максфилд* — американский художник, декоратор. Писал фрески, характерен тонкой манерой письма, тщательной деталировкой.

представили.

Эйхман писал историю своей жизни, как я сейчас пишу историю своей. Этот старый ощипанный стервятник с лицом без подбородка, который оправдывал убийство шести миллионов жертв, улыбнулся мне улыбкой святого. Он проявлял искренний интерес к своей работе, ко мне, к охранникам, ко всем.

Он улыбнулся мне и сказал:

— Я ни на кого не сержусь.

— Так и должно быть, — сказал я.

— Я дам вам совет.

— Буду рад.

— Расслабьтесь, — сказал он, сияя, сияя, сияя. — Просто расслабьтесь.

— Именно так я и попал сюда, — сказал я.

— Жизнь разделена на фазы, — поучал он, — они резко отличаются друг от друга, и вы должны понимать, что требуется от вас в каждой фазе. В этом секрет удавшейся жизни.

— Как мило, что вы хотите поделиться этим секретом со мной, — сказал я.

— Я теперь пишу, — сказал он. — Никогда не думал, что смогу стать писателем.

— Позвольте задать вам нескромный вопрос? — спросил я.

— Конечно, — сказал он доброжелательно. — Я сейчас в соответствующей фазе. Спрашивайте что хотите, сейчас как раз время раздумывать и отвечать.

— Чувствуете ли вы вину за убийство шести миллионов евреев?

— Нисколько, — ответил создатель Освенцима, изобретатель конвейера в крематории, крупнейший в мире потребитель газа под названием Циклон-Б.

Недостаточно хорошо зная этого человека, я попытался придать разговору несколько гротескный тон, как мне казалось, гротескный.

— Вы ведь были просто солдатом, — сказал я, — не правда ли? И получали приказы свыше, как все солдаты в мире.

Эйхман повернулся к охраннику и выстрелил в него пулеметной очередью негодующего идиш. Если бы он говорил медленнее, я бы понял его, но он говорил слишком быстро.

— Что он сказал? — спросил я у охранника.

— Он спрашивает, не показывали ли мы вам его официальное заявление, — сказал охранник. — Он просил нас не посвящать никого в его содержание, пока он сам этого не сделает.

— Я его не видел, — сказал я Эйхману.

— Откуда же вы знаете, на чем построена моя защита? — спросил он.

Этот человек действительно верил в то, что сам изобрел этот банальный способ защиты, хотя целый народ, более чем девяносто миллионов, уже защищался так же. Так примитивно понимал он божественный дар изобретательства.

Чем больше я думаю об Эйхмане и о себе, тем яснее понимаю, что он скорее пациент психушки, а я как раз из тех, для которых создано справедливое возмездие.

Я, чтобы помочь суду, который будет судить Эйхмана, хочу высказать мнение, что он не способен отличить добро от зла и что не только добро и зло, но и правду и ложь, надежду и отчаяние, красоту и уродство, доброту и жестокость, комедию и трагедию его сознание воспринимает не различая, как одинаковые звуки рожка.

Мой случай другой. Я всегда знаю, когда говорю ложь, я способен предсказать жестокие последствия веры других в мою ложь, знаю, что жестокость — это зло. Я не могу лгать, не замечая этого, как не могу не заметить, когда выходит почечный камень.

Если бы нам после этой жизни было суждено прожить еще одну, я бы хотел в ней быть челове-

ком, о котором можно сказать: «Простите его, он не ведает, что творит».

Сейчас обо мне этого сказать нельзя.

Единственное преимущество, которое дает мне умение различать добро и зло, насколько я понимаю, это иногда посмеяться там, где эйхманы не видят ничего смешного.

— Вы еще пишете? — спросил меня Эйхман там, в Тель-Авиве.

— Последний проект, — сказал я, — сценарий торжественного представления для архивной полки.

— Вы ведь профессиональный писатель?

— Можно сказать, да.

— Скажите, вы отводите для работы какое-то определенное время дня, независимо от настроения, или ждете вдохновения, не важно, днем или ночью?

— По расписанию, — ответил я, вспоминая далекое прошлое.

Я почувствовал, что он проникся ко мне уважением.

— Да, да, — сказал он, кивая, — расписание. Я тоже пришел к этому. Иногда я просто сижу, уставившись на чистый лист бумаги, сижу все то время, что отведено для работы. А алкоголь

помогает?

— Я думаю, это только кажется, а если и помогает, то примерно на полчаса, — сказал я. Это тоже было воспоминание молодости.

Тут Эйхман пошутил.

— Послушайте, — сказал он, — насчет этих шести миллионов.

— Да?

— Я могу уступить вам несколько для вашей книги, — сказал он. — Я думаю, мне так много не нужно.

Я предлагаю эту шутку истории, полагая, что поблизости не было магнитофона. Это одна из незабвенных острот Чингисхана-бюрократа.

Возможно, Эйхман хотел напомнить мне, что я тоже убил множество людей упражнениями своих красноречивых уст. Но я сомневаюсь, что он был настолько тонким человеком, хотя и был человеком неоднозначным. Возвращаясь к шести миллионам убитых им — я думаю, он не уступил бы мне ни одного. Если бы он начал раздавать все свои жертвы, он перестал бы быть Эйхманом в его эйхмановском понимании Эйхмана.

Охранники увели меня, и еще одна, последняя, встреча с этим человеком века была в виде записки, загадочно проникшей из его тюрьмы в

Тель-Авиве ко мне в Иерусалим. Записка была подброшена мне неизвестным в прогулочном дворе. Я поднял ее, прочел, и вот что там было: «Как вы думаете, необходим ли литературный агент?» Записка была подписана Эйхманом.

Вот мой ответ: «Для клуба книголюбов и кинопродюсеров в Соединенных Штатах — абсолютно необходим».

## Глава тридцатая.
## Дон Кихот...

Мы должны были лететь в Мехико-сити — Крафт, Рези и я. Таков был план. Доктор Джонс должен был не только обеспечить наш перелет, но и наш прием там.

Оттуда мы должны были выехать на автомобиле, разыскать какую-нибудь затерянную деревушку, где и оставаться до конца своих дней.

Этот план был прекрасен, как давнишняя мечта. И определенно казалось, что я снова смогу писать.

Я робко говорил это Рези.

Она плакала от радости. Действительно от радости? Кто знает? Могу только заверить, что слезы были мокрые и соленые.

— Я имею хоть какое-нибудь отношение к этому прекрасному божественному чуду? — сказала она.

— Прямое, — крепко обнимая ее, сказал я.

— Нет-нет, очень небольшое, но, слава богу, имею. Это великое чудо — талант, с которым ты

родился.

— Великое чудо — это твоя способность воскрешать из мертвых, — сказал я.

— Это делает любовь. Она воскресила и меня. Неужели ты думаешь, что я раньше была жива?

— Не об этом ли я должен писать? В нашей деревушке там, в Мексике, на Тихом океане, не об этом ли я должен писать прежде всего?

— Да, да, конечно, дорогой, о, дорогой! Я буду так заботиться о тебе. А у тебя, у тебя будет ли время для меня?

— Время после полудня, вечера и ночи твои. Все это время я смогу отдать тебе.

— Ты уже подумал об имени?

— Об имени?

— Да, о новом имени — имени нового писателя, чьи прекрасные произведения таинственно появятся из Мексики. Я буду миссис…

— Señora, — сказал я.

— Señora кто? Señora и Señora кто? — сказала она.

— Окрести нас, — сказал я.

— Это слишком важно, чтобы сразу принять решение, — сказала она. Тут вошел Крафт.

Рези попросила его предложить псевдоним для меня.

— Как насчет Дон Кихота? — сказал он. — Тогда ты была бы Дульцинеей Тобосской, а я бы подписывал свои картины Санчо Панса.

Вошел доктор Джонс с отцом Кили.

— Самолет будет готов завтра утром. Будете ли вы себя достаточно хорошо чувствовать для отъезда? — спросил он.

— Я уже сейчас хорошо себя чувствую.

— В Мехико-сити вас встретит Арндт Клопфер, — сказал Джонс. — Вы запомните?

— Фотограф? — спросил я.

— Вы его знаете?

— Он делал мою официальную фотографию в Берлине, — сказал я.

— Сейчас он лучший пивовар в Мексике, — сказал Джонс.

— Слава богу, — сказал я, — последнее, что я о нем слышал, что в его ателье попала пятисотфунтовая бомба.

— Хорошего человека просто так не уложишь, — сказал Джонс. — А теперь у нас с отцом Кили к вам особая просьба.

— Да?

— Сегодня вечером состоится еженедельное собрание Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции. Мы с отцом Кили

хотели устроить нечто вроде поминальной службы по Августу Крапптауэру.

— Понятно.

— Мы с отцом Кили думаем, что нам будет не под силу произнести панегирик, это было бы ужасным эмоциональным испытанием для каждого из нас, — сказал Джонс. — Мы хотим, чтобы вы, знаменитый оратор, можно сказать, человек с золотым горлом, оказали честь произнести несколько слов.

Я не мог отказаться.

— Благодарю вас, джентльмены. Это должен быть панегирик?

— Отец Кили придумал главную тему, если вам это поможет.

— Это мне очень поможет, я бы охотно использовал ее.

Отец Кили прочистил глотку.

— Я думаю, темой может быть «Дело его живет», — сказал этот протухший старый служитель культа.

## Глава тридцать первая.
## Дело его живет...

В котельной в подвале доктора Джонса расселась рядами на складных стульях Железная Гвардия Белых Сыновей Американской Конституции. Гвардейцев было двадцать в возрасте от шестнадцати до двадцати. Все блондины. Все выше шести футов ростом.

Одеты они были аккуратно, в костюмах, белых рубашках и при галстуках. На принадлежность к Гвардии указывала только маленькая золотая ленточка в петлице правого лацкана.

Я бы не заметил этой странной детали — петлицы на правом лацкане, ведь на нем обычно нет петлицы, если бы доктор Джонс не указал мне на нее.

— Вот по ней-то они и отличают друг друга, даже когда не носят ленточку, — сказал он. — Они могут видеть, как растут их ряды, тогда как другие этого не замечают.

— И каждый должен нести пиджак к портному и просить сделать петлицу на правом лацкане? — спросил я.

— Ее делают их матери, — сказал отец Кили.

Кили, Джонс, Рези и я сидели на возвышении лицом к гвардейцам, спиной к топке. Рези была на возвышении, так как согласилась сказать парням несколько слов о своем опыте общения с коммунизмом за железным занавесом.

— Большинство портных — евреи, — сказал доктор Джонс. — Мы не хотим пачкать руки.

— И вообще хорошо, что в этом участвуют матери, — сказал отец Кили.

Шофер Джонса, Черный Фюрер Гарлема, с большим полотняным транспарантом поднялся вместе с нами на возвышение и привязал транспарант к трубам парового отопления. Вот что на нем было:

«Прилежно учитесь. Будьте во всем первыми. Держите тело в чистоте и в силе. Держите свое мнение при себе».

— Все эти подростки местные? — спросил я Джонса.

— Нет, что вы, — сказал Джонс, — только восемь вообще из Нью-Йорка. Девять из Нью-Джерси, двое из Пикскилла — двойняшки, а один даже приезжает из Филадельфии.

— И он каждую неделю приезжает из Филадельфии? — спросил я.

— Где еще он мог получить все то, что давал им Август Крапптауэр?

— Как вы их завербовали?

— Через мою газету, — сказал Джонс. — Вернее, они сами завербовались. Обеспокоенные честные родители все время писали в «Христианский Белый Минитмен», спрашивая меня, нет ли какого-нибудь молодежного объединения, желающего сохранить чистоту американской крови. Одно из самых душераздирающих писем, которое я когда-либо видел, было от женщины из Бернардсвилля, Нью-Джерси. Она позволила своему сыну вступить в организацию Бойскауты Америки, не понимая, что истинное название БСА должно было бы быть Бестии и Семиты Америки. Там парень за успехи получил звание бойскаута первой степени, потом пошел в армию, попал в Японию и вернулся домой с женой-японкой.

— Когда Август Крапптауэр читал это письмо, он плакал, — сказал отец Кили. — Вот почему он, несмотря на переутомление, стал снова работать с молодежью.

Отец Кили призвал собравшихся к порядку и предложил помолиться.

Это была обычная молитва, призывавшая к мужеству перед лицом враждебных сил.

Одна деталь была, однако, необычна, деталь, которой я никогда не встречал раньше, даже в Германии. Черный Фюрер стоял в глубине комнаты у литавр. Литавры были приглушены — покрыты, как оказалось, искусственной леопардовой шкурой, которую я уже использовал как халат. В конце каждого изречения Черный Фюрер извлекал из литавр приглушенный звук.

Рези рассказывала об ужасах жизни за железным занавесом скомкано, скучно и на таком низком для воспитания уровне, что Джонс даже пытался ей подсказывать.

— Правда ведь, что большинство убежденных коммунистов — это евреи или выходцы с Востока? — спросил он ее.

— Что? — переспросила она.

— Конечно, — сказал Джонс. — Это и так ясно. — И довольно резко прервал ее.

А где был Джордж Крафт? Он сидел среди зрителей в самом последнем ряду, недалеко от прикрытых литавр.

Затем Джонс представил меня, представил как человека, не нуждающегося в рекомендации. Но он просил меня подождать, потому что у него есть для меня сюрприз.

Сюрприз у него действительно был.

Пока Джонс говорил, Черный Фюрер оставил свои литавры, подошел к реостату возле выключателя и стал постепенно уменьшать свет.

В сгущающейся темноте Джонс говорил об интеллектуальном и моральном климате Америки во время второй мировой войны. Он говорил о том, как патриотичных и мыслящих белых преследовали за их идеалы и как почти все американские патриоты гнили в федеральных тюрьмах.

— Американец нигде не мог найти правду, — сказал он.

Теперь комната погрузилась в полную темноту.

— Почти нигде, — сказал Джонс в темноте. — Найти ее мог только счастливчик, имевший коротковолновый приемник. Вот где был единственный оставшийся источник правды. Единственный.

А затем в полной темноте — шум и треск приемника, обрывки немецкой, французской речи, кусок Первой симфонии Брамса… и затем громко и отчетливо:

Говорит Говард У. Кемпбэлл-младший, один из немногих свободных американцев. Я веду передачу из свободного Берлина. Я приветствую моих

соотечественников, а именно: чистокровных белых американцев-нееврeев сто шестой дивизии, занимающих сейчас позиции перед Сен-Витом. Родителям парней из этой необстрелянной дивизии могу сообщить, что в настоящее время в районе спокойно, 442-й и 444-й полки — на передовой, 423-й — в резерве.

В последнем номере «Ридерс Дайджест» помещена прекрасная статья под названием «Неверующих в окопах нет». Мне бы хотелось немного расширить эту тему и сказать, что хотя война инспирирована евреями и война на руку только евреям, однако в окопах евреев нет. Рядовые 106-й дивизии могут это подтвердить. Евреи так заняты учетом вещевого довольствия в интендантской службе, или денег в финансовой службе, или спекуляцией сигаретами и нейлоновыми чулками в Париже, что не приближаются к фронту ближе, чем на сто миль.

Вы там, дома, вы, родные и близкие парней на фронте, — вспомните всех евреев, которых вы знаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько о них подумали.

И теперь скажите: делает их война беднее или богаче? Питаются они хуже или лучше, чем вы? Меньше у них бензина, чем у вас, или больше?

Я знаю ответы на эти вопросы, и вы тоже узнаете, если откроете глаза пошире и подумаете покрепче.

А теперь я хочу спросить вас: знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона — некогда столицы свободного народа, — знаете ли вы хоть одну еврейскую семью, получившую телеграмму из Вашингтона, которая начинается словами: «По поручению военного министра с глубоким прискорбием сообщаю Вам, что ваш сын…»

И так далее.

Пятнадцать минут Говарда У. Кемпбэлла-младшего, свободного американца, здесь, в темноте подвала. Я не имел в виду скрыть свой позор за тривиальным «и так далее».

Записи всех без исключения передач Говарда У. Кемпбэлла-младшего имеются в Институте документации военных преступников в Хайфе. Если кто-то хочет прослушать эти передачи, выбрать из них самое мерзкое, что я говорил, — не возражаю, пусть это будет добавлено к моим запискам как приложение.

Я едва ли могу отрицать, что говорил это. Могу лишь подчеркнуть, что сам я в это не верил, я понимал, какие невежественные, разрушительные,

непристойные, абсурдные вещи я говорю.

Все, что происходило в этом темном подвале, ужасные вещи, которые я говорил когда-то, не шокировали меня. Было бы, наверное, полезнее сказать в свою защиту, что я весь покрылся холодным потом или другую подобную чепуху. Но я всегда хорошо знал, что делал. И спокойно уживался с тем, что делал. Как? Благодаря такой широко распространенной благодати современного человечества, как шизофрения.

Тут в темноте произошло нечто, заслуживающее упоминания. Кто-то с нарочитой неловкостью, чтобы я это заметил, сунул мне в карман записку.

Когда зажегся свет, я даже не мог предположить, кто это сделал.

Я произнес свой панегирик Августу Крапптауэру, сказав, между прочим, то, во что действительно верю: крапптауэровская правда, вероятно, будет жить вечно, во всяком случае, пока есть люди, которые прислушиваются скорее к зову сердца, чем к разуму.

Я был награжден аплодисментами публики и барабанным боем Черного Фюрера.

Я пошел в клозет прочитать записку.

Записка была написана печатными буквами

на маленьком листике в линейку, вырванном из блокнота. Вот что в ней говорилось:

«Черный ход открыт. Немедленно выходите. Я жду вас в пустой лавке прямо напротив через улицу. Срочно. Ваша жизнь в опасности. Записку съешьте».

Записка была подписана Моей Звездно-Полосатой Крестной — полковником Фрэнком Виртаненом.

## Глава тридцать вторая. Розенфельд…

Мой адвокат здесь, в Иерусалиме, мистер Алвин Добровитц сказал мне, что я непременно выиграю дело, если хотя бы один свидетель подтвердит, что видел меня в обществе человека, которого я знаю как полковника Фрэнка Виртанена.

Я встречался с Виртаненом три раза: перед войной, сразу после войны и, наконец, в пустующей лавке напротив резиденции его преподобия доктора Дж. Д. Джонса, Д. С. Х., Д. Б. Только во время первой встречи, встречи на скамейке в парке, нас могли видеть вместе. Но те, кто видел нас, зафиксировали нас в своей памяти не больше, чем белок или птиц.

Во второй раз я встретил его в Висбадене, в Германии, в столовой того, что когда-то было школой подготовки офицеров инженерного корпуса вермахта. Одна из стен столовой была расписана — танк, движущийся по живописной извилистой сельской дороге под сияющим на ясном небе солнцем. Вся эта буколическая сцена, казалось, вот-вот рухнет.

В роще на переднем плане картины была изображена небольшая группа саперов, эдаких веселеньких Робин Гудов в стальных шлемах, которые забавлялись минированием этой дороги и установкой противотанкового орудия и пулемета.

Они были так счастливы.

Как я попал в Висбаден?

Меня увезли из Ордруфа, где я находился в лагере для военнопленных Третьей армии, 15 апреля, через три дня после того, как меня взял в плен лейтенант Бернард О'Хара.

Меня в джипе перевезли в Висбаден под охраной младшего лейтенанта, имени которого я не знаю. Мы с ним почти не разговаривали. Он мной не интересовался. Всю дорогу он был в глухой ярости по поводу чего-то, не имевшего ко мне отношения. Надули его, оклеветали, оскорбили? Неправильно поняли? Не знаю.

В любом случае он не мог бы стать свидетелем. Он выполнял наскучившие ему приказы. Он спросил дорогу к лагерю, а затем в столовую. Он высадил меня у двери столовой и приказал войти и подождать внутри. А сам уехал, оставив меня без охраны.

Я вошел в столовую, хотя мог вообще спокойно

уйти.

В этой унылой конюшне в полном одиночестве на столе у расписанной стены сидела Моя Звездно-Полосатая Крестная.

Виртанен был в форме американского солдата — куртка на молнии, штаны цвета хаки, рубашка, расстегнутая у ворота, и походные ботинки. При нем не было оружия. И никаких знаков отличия.

Он был коротконог. Он сидел на столе, болтая ногами, которые не доставали до пола. Ему тогда, наверное, было лет пятьдесят, на семь лет больше, чем когда мы виделись в первый раз. Он облысел и потолстел.

У полковника Фрэнка Виртанена был вид нахального розовощекого младенца, какой тогда часто придавали пожилым мужчинам победа и американская походная форма.

Он улыбнулся, пожал дружески мне руку и сказал:

— Ну и что же вы думаете о такой войне, Кемпбэлл?

— Я бы предпочел вообще в ней не участвовать.

— Поздравляю, — сказал он. — Вы, во всяком случае, выкарабкались из нее живым. А многие, знаете, нет.

— Знаю. Например, моя жена.

— Очень жаль, — сказал он. — Я узнал, что она исчезла, одновременно с вами.

— От кого вы это узнали?

— От вас. Это содержалось в информации, которую вы передали той ночью.

Новость о том, что я передал закодированное сообщение об исчезновении Хельги, передал, даже не подозревая, что я передаю, почему-то ужасно меня расстроила. Это расстраивает меня до сих пор. Сам не знаю, почему.

Это, наверное, демонстрирует такое глубокое раздвоение моего «я», которое даже мне трудно представить.

В тот критический момент моей жизни, когда я должен был осознать, что Хельги уже нет, моей израненной душе следовало бы безраздельно скорбеть. Но нет. Одна часть моего «я» в закодированной форме сообщала миру об этой трагедии. А другая даже не осознавала, что об этом сообщает.

— Это что, была такая важная военная информация? Ради выхода ее за пределы Германии я должен был рисковать своей головой? — спросил я Виртанена.

— Конечно. Как только мы ее получили, мы сразу начали действовать.

— Действовать? Как действовать? — сказал я заинтригованно.

— Искать вам замену. Мы думали, вы тут же покончите с собой.

— Надо было бы.

— Я чертовски рад, что вы этого не сделали, — сказал он.

— А я чертовски сожалею, — сказал я. — Знаете, человек, который так долго был связан с театром, как я, должен точно знать, когда герою следует уйти со сцены, если он действительно герой. — Я хрустнул пальцами. — Так провалилась вся пьеса «Государство двоих», обо мне и Хельге. Я не включил в нее великолепную сцену самоубийства.

— Я не люблю самоубийств, — сказал Виртанен.

— Я люблю форму. Я люблю, когда в пьесе есть начало, середина и конец, и если возможно, и мораль тоже.

— Мне кажется, есть шанс, что она все-таки жива, — сказал Виртанен.

— Пустое. Неуместные слова, — сказал я. — Пьеса окончена.

— Вы что-то сказали о морали?

— Если бы я покончил с собой, как вы ожидали, до вас, возможно, дошла бы мораль.

— Надо подумать, — сказал он.

— Ну и думайте на здоровье.

— Я не привык ни к форме, ни к морали, — сказал он. — Если бы вы умерли, я бы сказал, наверное: «Черт возьми, что же нам делать?» Мораль? Огромная работа даже просто похоронить мертвых, не пытаясь извлечь мораль из каждой отдельной смерти. Мы даже не знаем имен и половины погибших. Я мог бы сказать, что вы были хорошим солдатом.

— Разве?

— Из всех агентов, моих, так сказать, чад, только вы один благополучно прошли через войну, оправдали надежды и остались живы. Прошлой ночью я сделал ужасный подсчет, Кемпбэлл, вычислил, что из сорока двух вы оказались единственным, кто не только был на высоте, но и остался жив.

— А что с теми, от кого я получал информацию?

— Погибли, все погибли, — сказал он. — Кстати, все это были женщины. Их было семеро, и каждая, пока ее не схватили, жила только для того, чтобы передавать вам информацию. Подумайте, Кемпбэлл, семь женщин вы делали счастливыми снова, снова и снова, и все они в конце концов

умерли за это счастье. И ни одна не предала вас, даже после того, как ее схватили. И об этом подумайте.

— У меня и так хватает, над чем подумать. Я не собираюсь приуменьшать вашей роли учителя и философа, но и до этого нашего счастливого воссоединения мне было о чем подумать. Ну и что же со мной будет дальше?

— Вас уже нет. Третья армия избавилась от вас, и никаких документов о том, что вы прибыли сюда, не будет. — Он развел руками. — Куда вы хотите отправиться отсюда и кем вы хотите стать?

— Не думаю, что меня где-нибудь ожидает торжественная встреча.

— Да, едва ли.

— Известно ли что-нибудь о моих родителях?

— К сожалению, должен сказать, что они умерли четыре месяца назад.

— Оба?

— Сначала отец, а через двадцать четыре часа и мать, оба от сердца.

Я всплакнул, слегка покачал головой.

— Никто не рассказал им, чем я на самом деле занимаюсь?

— Наша радиостанция в центре Берлина стоила дороже, чем душевный покой двух стариков, —

сказал он.

— Странно.

— Для вас это странно, а для меня нет.

— Сколько человек знали, что я делал?

— Хорошего или плохого?

— Хорошего.

— Трое, — сказал он.

— Всего?

— Это много, даже слишком много. Это я, генерал Донован и еще один человек.

— Всего три человека в мире знали, кто я на самом деле, а все остальные… — Я пожал плечами.

— И остальные тоже знали, кто вы на самом деле, — сказал он резко.

— Но ведь это был не я, — сказал я, пораженный его резкостью.

— Кто бы это ни был, это был один из самых больших подонков, которых знала земля.

Я был поражен. Виртанен был искренне возмущен.

— И это говорите мне вы, вы же знали, на что меня толкаете. Как еще я мог уцелеть?

— Это ваша проблема. И очень немногие могли бы решить ее так успешно, как вы.

— Вы думаете, я был нацистом?

— Конечно, были. Как еще мог бы оценить вас

достойный доверия историк? Позвольте задать вам вопрос?

— Давайте.

— Если бы Германия победила, завоевала весь мир… — Он замолчал, вскинув голову. — Вы ведь лучше меня должны знать, что я хочу спросить.

— Как бы я жил? Что бы я чувствовал? Как бы я поступал?

— Вот именно, — сказал он. — Вы, с вашим-то воображением, должны были думать об этом.

— Мое воображение уже не то, что было раньше. Первое, что я понял, став шпионом, это что воображение — слишком большая роскошь для меня.

— Не отвечаете на мой вопрос?

— Теперь самое время узнать, осталось ли что-нибудь от моего воображения, — сказал я. — Дайте мне одну-две минуты.

— Сколько угодно, — сказал он.

Я мысленно поставил себя в ситуацию, которую он обрисовал, и то, что осталось от моего воображения, выдало разъедающе циничный ответ.

— Есть все шансы, что я стал бы чем-то вроде

нацистского Эдгара Геста,[11] поставляющего ежедневный столбец оптимистической рифмованной чуши для газет всего мира. И когда наступил бы старческий маразм — закат жизни, как говорят, я бы даже, наверное, пришел к убеждению, что «все к лучшему», как писал в своих куплетах. — Я пожал плечами. — Убил бы я кого-нибудь? Вряд ли. Организовал бы вооруженный заговор? Это более вероятно: но бомбы никогда не казались мне хорошим способом решать дела, хотя они, я слышал, часто взрывались в мое время. Одно могу сказать точно: я больше никогда не написал бы ни единой пьесы. Я потерял этот дар.

Я мог бы сделать что-нибудь действительно жестокое ради правды, или справедливости, или чего-то там еще, — сказал я своей Звездно-Полосатой Крестной, — только в состоянии безумия. Это могло случиться. Представьте себе, что в один прекрасный день я мог бы в трансе выскочить на мирную улицу со смертоносным оружием в руках. Но пошло бы это убийство на пользу миру или нет — вопрос слепой удачи.

Достаточно ли честно ответил я на ваш во-

---

**[11] Примечания: 11**

*Эдгар Гест* (1881–1959) — очень популярный в 1910–1930 годы автор сентиментальных псевдонародных стишков, которые он ежедневно печатал в газете «Detroit Free Press».

прос? — спросил я его.

— Да, спасибо.

— Считайте меня нацистом, — устало сказал я, — считайте меня кем угодно. Повесьте меня, если вы думаете, что это поднимет общий уровень морали. Моя жизнь не такое уж большое счастье. У меня нет никаких послевоенных планов.

— Я только хотел, чтобы вы поняли, как мало мы можем для вас сделать. Я вижу, вы поняли.

— Что же вы можете?

— Достать фальшивые документы, отвлечь внимание, переправить в такое место, где вы сможете начать новую жизнь, — сказал он. — Какие-то деньги, немного, но все-таки.

— Деньги? И как оценивается моя служба в деньгах?

— Это вопрос традиции, — сказал он. — Традиция восходит по меньшей мере к временам Гражданской войны.

— Вот как?

— Жалованье рядового. Я считаю, что оно причитается вам со дня нашей встречи в Тиргартене до настоящего момента.

— Как щедро! — сказал я.

— Щедрость не имеет большого значения в этом деле. Настоящие агенты вовсе не заинтере-

сованы в деньгах. Была бы разница, если бы вам заплатили как бригадному генералу?

— Нет, — сказал я.

— Или не заплатили бы совсем?

— Никакой разницы, — ответил я.

— Дело здесь чаще всего не в деньгах и даже не в патриотизме, — сказал он.

— А в чем же?

— Каждый решает этот вопрос сам для себя, — сказал Виртанен. — Вообще говоря, шпионаж дает возможность каждому шпиону сходить с ума самым притягательным для него способом.

— Интересно, — заметил я сухо.

Он хлопнул в ладоши, чтобы рассеять неприятный осадок от разговора.

— А теперь — куда вас отправить?

— Таити? — сказал я.

— Если угодно, — сказал он. — Я предлагаю Нью-Йорк.

Там вы сможете затеряться без всяких затруднений, и там достаточно работы, если захотите.

— Хорошо, Нью-Йорк, — сказал я.

— Сфотографируйтесь для паспорта. Вы улетите отсюда в течение трех часов.

Мы пересекли пустынный плац, по которому крутились пыльные вихри. Мое воображение

превратило их в призраки погибших на войне бывших курсантов этого училища, которые вернулись сюда и весело пляшут на плацу совсем не по-военному.

— Когда я говорил вам, что только три человека знали о ваших закодированных передачах… — начал Виртанен.

— И что?

— Вы даже не спросили меня, кто был третий?

— Это был кто-то, о ком я мог слышать?

— Да. Он, к сожалению, умер. Вы регулярно нападали на него в своих передачах.

— Да? — сказал я.

— Вы называли его Франклин Делано Розенфельд. Он каждую ночь с удовольствием слушал ваши передачи.

## Глава тридцать третья. Коммунизм поднимает голову…

Третий и, по всему, последний раз я встретился с Моей Звездно-Полосатой Крестной в заброшенной лавке против дома Джонса, в котором прятались Рези, Джордж Крафт и я.

Я не торопился входить в это темное помещение, резонно ожидая, что могу там встретить все что угодно, от караульных Американского цветного легиона до взвода израильских парашютистов, готовых меня схватить.

У меня был пистолет, люгер Железных Гвардейцев, рассверленный до двадцать второго калибра. Я держал его не в кармане, а открыто, наготове, заряженным и взведенным. Я разведал фасад лавки, не обнаруживая себя. Фасад был не освещен. Тогда я добрался до черного хода, продвигаясь короткими перебежками между контейнерами с мусором.

Любой, кто попытался бы схватить меня, Говарда У. Кепмбэлла, был бы изрешечен, прошит, как швейной машинкой. И я должен сказать, что за все эти короткие перебежки между укрытиями я

полюбил пехоту, чью бы то ни было пехоту.

Человек, думается мне, вообще пехотное животное.

В задней комнате лавки горел свет. Я посмотрел, в окно и увидел полную безмятежности сцену. Полковник Фрэнк Виртанен, Моя Звездно-Полосатая Крестная, опять сидел на столе, опять ожидал меня.

Теперь это был совсем пожилой человек, совершенно лысый, как будда.

Я вошел.

— Я был уверен, что вы уже ушли в отставку, — сказал я.

— Я и ушел — восемь лет назад. Построил дом на озере в штате Мэн, топором, рубанком и этими двумя руками. Меня отозвали как специалиста.

— По какому вопросу?

— По вопросу о вас, — ответил он.

— Откуда этот внезапный интерес ко мне?

— Именно это и я должен выяснить.

— Нет ничего загадочного в том, что израильтяне охотятся за мной.

— Согласен, — сказал он. — Но весьма загадочно, почему это русские считают вас такой ценной добычей.

— Русские? — сказал я. — Какие русские?

— Это девица — Рези Нот и этот старик, художник, именуемый Джордж Крафт, — сказал Виртанен. — Они оба — коммунистические агенты. Мы наблюдаем за человеком, называющим себя Крафтом, с 1941 года. Мы облегчили въезд в страну этой девице только для того, чтобы выяснить, что она собирается делать.

## Глава тридцать четвертая. Alles kaput

Я с жалким видом сел на упаковочный ящик.

— Несколькими удачно выбранными словами вы уничтожили меня, — сказал я. — Насколько я был богаче еще минуту назад! Друг, мечты и любовница, — сказал я. — Alles kaput.

— Почему? Друг ведь у вас остался, — сказал Виртанен.

— Как это? — сказал я.

— Он ведь вроде вас. Он может быть в разных обличьях — и все искренне. — Он улыбнулся. — Это большой дар.

— Какие же у него были планы относительно меня?

— Он хотел вырвать вас из этой страны и отправить туда, откуда вас можно будет выкрасть с меньшими международными осложнениями. Для этого он выудил у Джонса, кто вы и что вы, и натравил на вас О'Хара и других патриотов. Все — чтобы вырвать вас отсюда.

— Мехико — вот мечта, которую он внушил мне.

— Знаю, — сказал Виртанен. — А в Мехико-сити вас уже ждет другой самолет. Если вы прилетите туда, вы проведете там не более двух минут. Вас сразу же перебросят в Москву на самом современном реактивном самолете, и все расходы уже оплачены.

— И доктор Джонс тоже в этом участвует? — спросил я.

— Нет, он искренне желает вам добра. Он один из немногих, кому вы можете доверять.

— Зачем я им в Москве? Зачем русским этот старый заплесневелый отброс второй мировой войны?

— Они хотят продемонстрировать всему миру, каких фашистских военных преступников укрывают Соединенные Штаты. Они также рассчитывают, что вы расскажете обо всех тайных соглашениях между Соединенными Штатами и нацистами в период становления фашистского режима.

— Как они собираются заставить меня сделать такие признания? Чем они могут меня запугать?

— Это просто, — сказал Виртанен, — даже очевидно.

— Пытками?

— Вероятно, нет. Просто смертью.

— Я не боюсь ее.

— Не вашей смертью.

— Чьей же?

— Девушки, которую вы любите и которая любит вас. Смертью — в случае, если вы откажетесь сотрудничать, — маленькой Рези Нот.

## Глава тридцать пятая.
## На сорок рублей дороже...

— Ее задачей было заставить меня полюбить ее? — спросил я.

— Да.

— Она прекрасно с этим справилась, — с грустью сказал я. — Правда, это было и несложно.

— Жаль, что я вынужден вам это сказать, — сказал Виртанен.

— Теперь проясняются некоторые загадочные вещи, хотя я и не стремился их прояснить. Знаете, что было в ее чемодане?

— Собрание ваших сочинений?

— Вы и это знаете? Подумать только, каких усилий стоило им раздобыть ей такой реквизит! Откуда они знали, где искать мои рукописи?

— Они были не в Берлине. Они были надежно упрятаны в Москве, — сказал Виртанен.

— Как они туда попали?

— Они были главным вещественным доказательством в деле Степана Бодовскова.

— Кого?

— Сержант Степан Бодовсков был переводчи-

ком в одной из первых русских частей, вошедших в Берлин. Он нашел чемодан с вашими рукописями на чердаке театра. И взял его в качестве трофея.

— Ну и трофей!

— Это оказался на редкость ценный трофей! — сказал Виртанен. — Бодовсков хорошо знал немецкий. Он просмотрел содержимое чемодана и понял, что это — мгновенная карьера.

— Он начал скромно, перевел несколько ваших стихотворений на русский и послал их в литературный журнал. Их опубликовали и похвалили. Затем он взялся за пьесу, — сказал Виртанен.

— За какую? — спросил я.

— «Кубок». Бодовсков перевел ее на русский и заработал на ней виллу на Черном море даже раньше, чем были убраны мешки с песком, защищавшие от бомбежек окна Кремля.

— Она была поставлена?

— Не только поставлена, она и сейчас идет по всей России как на любительской сцене, так и на профессиональной. «Кубок» — это «Тетка Черлея» современного русского театра. Вы более живы, чем даже можете себе представить, Кемпбэлл.

— Дело мое живет, — пробормотал я.

— Что?

— Знаете, я даже не могу вспомнить сюжет этого «Кубка», — сказал я.

И тут Виртанен рассказал мне его.

— Небесной чистоты девушка охраняет Священный Грааль. Она должна передать Грааль только такому же чистому, как и она сама, рыцарю. Появляется рыцарь, достойный Грааля.

Но тут рыцарь и девушка влюбляются друг в друга. Надо ли мне рассказывать вам, автору, чем все это кончилось?

— Я как будто впервые слышу это, — сказал я, — как будто это действительно написал Бодовсков.

— У рыцаря и девушки, — продолжал историю Виртанен, — появляются греховные мысли, несовместимые с обладанием Граалем. Героиня начинает упрашивать рыцаря убежать с Граалем пока не поздно. Рыцарь клянется уйти без Грааля, оставив героиню достойно охранять его. Так решает герой, — говорил Виртанен, — когда у них появляются греховные мысли. Но Священный Грааль исчезает. И, ошеломленные таким неопровержимым доказательством своего грехопадения, двое любящих действительно его совершают, решившись на ночь страстной любви.

На следующее утро, уверенные, что их ждет

адский огонь, они клянутся так любить друг друга при жизни, чтобы даже адский огонь казался ничтожной ценой за это счастье. Тут перед ними появляется священный Грааль в знак того, что небеса не осуждают такую любовь. А потом Грааль снова навсегда исчезает, а герои живут долго и счастливо.

— Боже, неужели я действительно написал это?

— Сталин был без ума от нее, — сказал Виртанен. — А другие пьесы?

— Все поставлены, и с успехом, — сказал Виртанен.

— Но вершиной Бодовскова был «Кубок»? — спросил я.

— Нет, вершиной была книга.

— Бодовсков написал книгу?

— Это вы написали книгу.

— Я никогда не писал.

— «Мемуары моногамного Казановы»?

— Но это же невозможно напечатать!

— Издательство в Будапеште было бы удивлено, услышав это, — сказал Виртанен. — Кажется, они издали их тиражом около полумиллиона.

— И коммунисты разрешили открыто издать такую книгу?

— «Мемуары моногамного Казановы» — курьезная главка русской истории. Едва ли они могли быть официально одобрены и напечатаны в России, однако это такой привлекательный, удивительно высоконравственный образец порнографии, такой идеальный для страны, испытывающей недостаток во всем, кроме мужчин и женщин, что типографии в Будапеште каким-то образом осмелились начать их печатать, и каким-то образом никто их не остановил. — Виртанен подмигнул мне. — Один из немногих игривых безобидных проступков, который может позволить себе русский без риска для себя, это протащить через границу домой экземпляр «Мемуаров моногамного Казановы». И для кого он это протаскивает? Кому собирается он показать эту пикантность? Своему закадычному другу — старой карге — собственной жене.

— В течение многих лет, — сказал Виртанен, — существовало только русское издание, но теперь есть переводы на венгерский, румынский, латышский, эстонский и, что самое забавное, — обратно на немецкий.

— Бодовсков считается автором? — спросил я.

— Хотя все знают, что автор — Бодовсков, на книге не указаны ни автор, ни издатель, ни ху-

дожник — они якобы неизвестны.

— Художник? — сказал я в ужасе, представив себе, что нас с Хельгой изобразили кувыркающимися нагишом.

— Четырнадцать цветных иллюстраций, как живые, — сказал Виртанен, — и на сорок рублей дороже.

## Глава тридцать шестая.
## Все, кроме визга...

— Хоть бы не было иллюстраций! — сердито сказал я Виртанену.

— Вам не все равно? — сказал он.

— Это все портит! Иллюстрации только искажают слова. Эти слова не предполагают иллюстраций! С иллюстрациями это уже не те слова.

Он пожал плечами.

— Боюсь, это уже не в вашей власти. Разве что вы объявите войну России.

Я поморщился и закрыл глаза.

— Что говорят о чикагских бойнях, про то, как они поступают со свиньями?

— Не знаю, — сказал Виртанен.

— Они хвастаются тем, что используют в свинье все, кроме визга, — сказал я.

— Да? — сказал Виртанен.

— Вот так я сейчас себя чувствую — как разделанная свинья, каждой части которой специалисты нашли применение. О господи, они нашли применение даже моему визгу! Та моя часть, которая хотела сказать правду, обернулась

отъявленным лжецом. Страстно влюбленный во мне обернулся любителем порнографии. Художник во мне обернулся редкостным безобразием. Даже самые святые мои воспоминания они превратили в кошачьи консервы, клей и ливерную колбасу, — сказал я.

— Что за воспоминания? — спросил Виртанен.

— О Хельге — моей Хельге, — сказал я и заплакал. — Рези убила их в интересах Советского Союза. Она заставила меня предать их, и теперь с ними покончено. — Я открыл глаза. — Г… все это, — сказал я спокойно. — Думаю, что и свинья, и я можем гордиться тем, что нашу полезность так здорово доказали. Одному я рад, — сказал я.

— Чему же?

— Я рад за Бодовскова. Я рад, что кто-то смог пожить артистической жизнью благодаря тому, что я сделал когда-то. Вы сказали, что его арестовали и судили?

— И расстреляли.

— За плагиат?

— За оригинальность. Плагиат — одно из самых безобидных преступлений. Какой вред от переписывания того, что уже было написано? Истинная оригинальность — вот вплоть до coup

de grace[12].

— Не понимаю.

— Ваш друг Крафт-Потапов понял, что большая часть того, что Бодовсков приписывает себе, написана вами, — сказал Виртанен. — Он сообщил об этом в Москву. На вилле Бодовскова произвели обыск. Волшебный чемодан с вашими произведениями был обнаружен под соломой на чердаке его конюшни.

— Вот как?

— Каждое ваше слово из этого чемодана было опубликовано.

— И…?

— Бодовсков начал постепенно наполнять чемодан волшебством собственного производства, — сказал Виртанен. — Милиция нашла две тысячи страниц сатиры на Красную Армию, написанных определенно не в стиле Бодовскова. За эту небодовскую манеру он и был расстрелян. Но хватит о прошлом! — продолжал Виртанен. — Поговорим о будущем. Примерно через полчаса в доме Джонса начнется облава. Он уже окружен. Чтобы не усложнять дело, я хочу, чтобы вас там не было.

---

**[12] Примечания: 12**

Coup de grace (*фр.*) — последний удар. Очевидно, автор имеет в виду высшую меру наказания.

— Куда же, по-вашему, мне деваться?

— Не возвращайтесь в свою квартиру. Патриоты уже ее разгромили. Они, наверное, растерзали бы и вас, окажись вы там.

— Что же будет с Рези?

— Только высылка из страны. Она не замешана ни в каких преступлениях.

— А с Крафтом?

— Большой тюремный срок. Это не позор. Я думаю, он предпочтет отправиться в тюрьму, чем вернуться на родину. Почетный доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б., — сказал Виртанен, — снова попадет в тюрьму за нелегальное хранение огнестрельного оружия и за всякие другие преступления, которые ему можно пришить. Для отца Кили, по-видимому, ничего не запланировано, и я полагаю, что он опять вернется к бродяжничеству. И Черный Фюрер тоже.

— А железные гвардейцы? — спросил я.

— Железной Гвардии Белых Сынов Американской Конституции, — сказал Виртанен, — будет прочитана внушительная лекция о незаконности в нашей стране частных армий, убийств, нанесения, увечий, мятежей, государственной измены и насильственного ниспровержения правительства. Их отправят домой просвещать

своих родителей, если это возможно. — Он снова взглянул на часы. — Вам пора уходить, выбирайтесь отсюда немедленно.

— Могу я спросить, кто ваш человек у Джонса? — сказал я. — Кто сунул мне в карман записку?

— Спросить вы можете, — сказал Виртанен. — Но вы же понимаете, что я не отвечу.

— Вы до такой степени мне не доверяете? — сказал я.

— Могу ли я доверять человеку, который был таким прекрасным шпионом? А?

## Глава тридцать седьмая.
## Это старое золотое правило...

Я ушел от Виртанена.

Не успев сделать и нескольких шагов, я понял, что единственное место, куда я хочу пойти, — это в подвал Джонса, к моей любовнице и к моему лучшему другу.

Я уже знал, чего они стоят, но факт остается фактом: они — все, что у меня оставалось.

Я вернулся в подвал Джонса тем же путем, как и исчез, — через черный ход.

Когда я вернулся. Рези, отец Кили и Черный Фюрер играли в карты.

Никто меня не хватился.

В котельной шли занятия Железной Гвардии Белых Сыновей Американской Конституции, отрабатывались почести, воздаваемые флагу. Занятия вел один из гвардейцев.

Джонс ушел наверх писать, творить.

Крафт, этот Русский Супершпион, читал «Лайф» с портретом Вернера фон Брауна на обложке. Журнал был раскрыт на центральном развороте с панорамой доисторического болота эпохи

рептилий.

Из приемника доносилась музыка. Объявили песню. Название ее запечатлелось в моей памяти. Нет ничего удивительного в том, что я его запомнил. Название как раз подходило к тому моменту, впрочем, к любому моменту. Название было: «Это старое золотое правило: что посеешь, то пожнешь».

По моей просьбе Институт документации военных преступников в Хайфе нашел мне слова этой песни. Вот они:

*О, бэби, бэби, бэби,*
*Зачем ты мне сердце разбила?*
*Говорила, что будешь верна мне,*
*А сама давно изменила.*
*Я так огорчен,*
*Но не удивлен,*
*Ты меня в дурака превратила,*
*Ты плакать меня заставила,*
*Ты смеялась надо мной и лукавила,*
*Почему ты не знала, девушка, золотого*
*Старого правила.*

— Во что играете? — спросил я игроков.

— В ведьму, — ответил отец Кили.

Он относился к игре серьезно. Он хотел выиграть, я увидел, что у него на руках дама пик, ведьма.

Я, наверное, показался бы более человечным, вызвал бы больше сочувствия, если бы сказал, что в тот момент у меня голова пошла кругом от ощущения нереальности происходящего.

Извините.

Ничего подобного.

Должен признаться в ужасном своем недостатке. Все, что я вижу, слышу, чувствую, пробую, нюхаю, — для меня реально. Я настолько доверчивая игрушка своих ощущений, что для меня нет ничего нереального. Эта доверчивость, стойкая, как броня, сохранялась даже тогда, когда меня били по голове, или я был пьян, или был втянут в странные приключения, о которых не стоит распространяться, или даже под влиянием кокаина.

В подвале Джонса Крафт показал мне фотографию фон Брауна на обложке «Лайф» и спросил, знал ли я его.

— Фон Брауна? — спросил я. — Этого Томаса Джефферсона космического века? Естествен-

но. Барон танцевал однажды в Гамбурге с моей женой на дне рождения генерала Вальтера Дорнбергера.

— Хороший танцор? — спросил Крафт.

— Что-то вроде танцующего Микки Мауса, — сказал я. — Так танцевали все крупные нацистские деятели, когда им приходилось это делать.

— Как ты думаешь, он бы сейчас тебя узнал? — спросил Крафт.

— Уверен, что узнал бы, — сказал я. — С месяц назад я наскочил на него на Пятьдесят второй улице, и он окликнул меня по имени. Он очень поразился, увидев меня в таком плачевном положении. Он сказал, что у него много знакомых в информационном бизнесе, и предложил подыскать мне работу.

— Ты бы в этом преуспел.

— Вообще-то я не чувствую мощного призвания заниматься перепиской с клиентами, — ответил я.

Игра в карты кончилась, проиграл отец Кили, он так и не смог отделаться от жалкой старой ведьмы — пиковой дамы.

— Ну и ладно, — сказал отец Кили, как будто он много выигрывал в прошлом и собирается и дальше выигрывать. — Всего не выиграешь.

Вместе с Черным Фюрером он поднялся наверх, останавливаясь через каждые несколько ступенек и считая до двадцати.

И теперь Рези, Крафт-Потапов и я остались одни.

Рези подошла ко мне, обняла меня за талию, прижалась щекой к моей груди.

— Только представь, дорогой, — сказала она.

— Что? — сказал я.

— Завтра мы будем в Мексике.

— Гм.

— Ты чем-то обеспокоен.

— Обеспокоен.

— Озабочен, — сказала она.

— Тебе тоже кажется, что я озабочен? — сказал я Крафту. Он все еще изучал панораму доисторического болота в журнале.

— Нет, — сказал он.

— Я в обычном, нормальном состоянии, — сказал я.

Крафт показал на птеродактиля, летающего над болотом.

— Кто бы мог подумать, что такое чудовище может летать? — сказал он.

— А кто бы мог подумать, что такая старая развалина, как я, может покорить сердце такой

прелестной девушки и, кроме того, иметь такого талантливого верного друга?

— Мне так легко тебя любить, — сказала Рези. — Я всегда тебя любила.

— Я как раз подумал… — сказал я.

— Расскажи мне, о чем ты подумал, — попросила Рези.

— Может быть, Мексика не совсем то, что нам нужно, — сказал я.

— Мы всегда сможем оттуда уехать, — сказал Крафт.

— Может быть, в аэропорту Мехико-сити мы можем сразу пересесть на реактивный самолет.

Крафт опустил журнал.

— И куда дальше? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я. — Просто быстро куда-то отправиться. Я думаю, меня возбуждает сама мысль о передвижении, я так долго сидел на месте.

— Гм, — сказал Крафт.

— Может быть, в Москву? — сказал я.

— Что? — сказал Крафт недоверчиво.

— В Москву, — сказал я. — Мне очень хочется увидеть Москву.

— Это что-то новое, — сказал Крафт.

— Тебе не нравится?

— Я… я должен подумать.

Рези стала отодвигаться от меня, но я держал ее крепко.

— Ты тоже об этом подумай, — сказал я ей.

— Если ты хочешь, — сказала она едва слышно.

— Господи! — сказал я и как следует тряхнул ее. — Чем больше я об этом думаю, тем это становится привлекательнее. Мне бы в Мехико-сити и двух минут между самолетами хватило.

Крафт встал, старательно сгибая и разгибая пальцы.

— Ты шутишь? — спросил он.

— Разве? Такой старый друг, как ты, должен понимать, шучу я или нет.

— Конечно, шутишь. — сказал он. — Что тебя может интересовать в Москве?

— Я бы попытался найти одного старого друга, — сказал я.

— Я не знал, что у тебя есть друг в Москве.

— Я не знаю, в Москве ли он, но где-то в России, — сказал я. — Я бы навел справки.

— Кто же он? — спросил Крафт.

— Степан Бодовсков, писатель.

— А… — сказал Крафт. Он сел и снова взял журнал.

— Ты о нем слышал? — спросил я.

— Нет.

— А о полковнике Ионе Потапове?

Рези отскочила от меня к дальней стене и прижалась к ней спиной.

— Ты знаешь Потапова? — спросил я ее.

— Нет.

— А ты? — спросил я Крафта.

— Нет, — сказал он. — Расскажи мне о нем.

— Он — коммунистический агент, — сказал я. — Он хочет увезти меня в Мехико-сити, где меня схватят и отправят в Москву для суда.

— Нет! — сказала Рези.

— Заткнись! — сказал ей Крафт.

Он вскочил, отбросив журнал, и пытался вытащить из кармана маленький пистолет, но я навел на него свой люгер.

Я заставил его бросить пистолет на пол.

— Глянь-ка, — сделав удивленный вид, сказал он, словно был здесь ни при чем. — Прямо ковбои и индейцы.

— Говард, — сказала Рези.

— Молчи! — предупредил ее Крафт.

— Дорогой, — сказала Рези плача, — мечта о Мексике — я надеялась — она станет реальностью. Нас всех ждало избавление! — Она

раскрыла объятия. — Завтра, — сказала она тихо. — Завтра, — прошептала она снова.

И тут она бросилась к Крафту, как будто хотела вцепиться в него. Но руки ее ослабли и бессильно повисли.

— Мы все должны были родиться заново, — сказала она ему хрипло. — И ты — ты тоже. Разве… разве ты сам этого не хотел? Как же ты мог с такой нежностью говорить о нашей новой жизни и не хотеть ее?

Крафт не ответил.

Рези повернулась ко мне.

— Да, я — коммунистический агент. И он тоже. Он действительно — полковник Иона Потапов. У нас действительно было задание доставить тебя в Москву. Но я не собиралась этого делать, потому что люблю тебя; потому что любовь, которую ты дал мне, — единственная моя любовь, другой у меня не было и не будет. Я же тебе говорила, что не желаю этого делать, правда? — сказала она Крафту.

— Она мне говорила, — сказал Крафт.

— И он согласился со мной, — сказала Рези, — и тоже мечтал о Мексике, где все мы выскочим из западни и заживем счастливо.

— Как ты узнал? — спросил меня Крафт.

— Американские агенты все время следили за вашими действиями, — сказал я. — Это место сейчас окружено. Вы погорели.

## Глава тридцать восьмая.
## О, сладкое таинство жизни…

Об облаве –
О Рези Нот –
О том, как она умерла –
О том, как она умерла на моих руках, там, в подвале преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса. Д. С. Х., Д. Б.

Это было совершенно неожиданно.

Казалось, Рези так любила жизнь, была создана для жизни, что мне в голову не приходило, что она может предпочесть смерть.

Я — человек, достаточно умудренный опытом или недостаточно одаренный воображением, — уж решайте сами, — чтобы представить себе, что такая молодая, красивая, умная девушка даже при самых тяжелых ударах судьбы и политики будет думать о смерти. Притом я говорил ей, что самое худшее, что ее ожидает, это депортация.

— И ничего более страшного? — сказала она.

— Ничего. И я сомневаюсь, что тебе даже придется оплачивать обратный проезд.

— И тебе не жалко будет, если я уеду?

— Конечно, жалко. Но я ничего не могу сделать, чтобы ты осталась со мной. С минуты на минуту сюда могут войти и арестовать тебя. Не думаешь же ты, что я буду драться с ними?

— А ты не будешь с ними драться?

— Конечно, нет. Какой у меня шанс?

— А это имеет значение?

— Ты хочешь знать, — сказал я, — почему я не умираю за любовь, как рыцарь в пьесе Говарда У. Кемпбэлла-младшего?

— Именно это я и хочу знать, — сказала она. — Почему бы нам не умереть вместе, прямо здесь, сейчас?

Я рассмеялся.

— Рези, дорогая, у тебя вся жизнь впереди.

— У меня вся жизнь позади, — сказала она, — вся в этих нескольких счастливых часах с тобой.

— Это звучит как строка, которую я мог бы написать, когда был молодым человеком.

— Это и есть строка, которую ты написал, когда был молодым человеком.

— Глупым молодым человеком, — сказал я.

— Я обожаю того молодого человека, — сказала она.

— Когда же ты полюбила его? Еще девочкой?

— Маленькой девочкой, а потом уже женщи-

ной, — сказала она. — Когда они дали мне все, что ты написал, и велели изучить, я полюбила тебя уже женщиной.

— Извини, но я не могу одобрить твой литературный вкус.

— Ты уже не веришь, что любовь — единственное, ради чего стоит жить?

— Нет.

— Тогда скажи, ради чего стоит жить вообще? — сказала она умоляюще. — Если не ради любви, то ради чего же? Ради всего этого? — Она жестом обвела убогую обстановку комнаты, еще резче усилив и мое собственное ощущение, что мир — это лавка старьевщика. — Я что, должна жить ради этого стула, этой картины, ради этой печной трубы, этой кушетки, этой трещины в стене? Вели мне жить ради этого, и я буду! — кричала она.

Теперь ее ослабевшие руки вцепились в меня. Она закрыла глаза и заплакала.

— Значит, не ради любви, — шептала она, — ради чего же, скажи.

— Рези, — сказал я нежно.

— Скажи мне! — требовала она.

Сила вернулась в ее руки, и она с нежным неистовством теребила мою одежду.

— Я старик, — беспомощно сказал я. Это была

трусливая ложь. Я не старик.

— Хорошо, старик, скажи мне, ради чего жить, — сказала она. — Скажи, ради чего ты живешь, чтобы и я могла жить ради того же — здесь или за десять тысяч километров отсюда! Объясни, почему ты хочешь остаться в живых, и тогда я тоже захочу жить!

И тут началась облава.

Силы закона и порядка ворвались через все двери, они размахивали оружием, свистели в свистки, светили яркими фонарями, хотя света и так было достаточно.

Это была целая небольшая армия, и они шумно веселились по поводу мелодраматично-зловещего реквизита нашего подвала. Они веселились, как дети вокруг рождественской елки.

Целая дюжина их, молодых, розовощеких, добродетельных, окружили Рези, Крафт-Потапова и меня, отобрали мой люгер и обращались с нами, как с тряпичными куклами, в поисках еще какого-нибудь оружия.

Другие спускались по лестнице, толкая перед собой преподобного доктора Лайонела Дж. Д. Джонса, Черного Фюрера и отца Кили.

Доктор Джонс остановился на середине лестницы и повернулся к своим мучителям:

— Все, что я делал, — сказал он величественно, — должны были делать вы.

— Что мы должны были делать? — сказал агент ФБР, который явно был здесь главным.

— Защищать республику, — сказал Джонс. — Что вам от нас надо? Мы делаем все, чтобы сделать нашу страну сильнее! Присоединяйтесь к нам, и пойдем вместе против тех, кто пытается ее ослабить!

— Кто же это? — спросил агент ФБР.

— Я должен вам объяснить? — сказал Джонс. — Вы еще не поняли этого за время вашей работы? Евреи! Католики! Черномазые! Желтые! Унитарии! Эмигранты, которые ничего не понимают в демократии, которые играют на руку социалистам, коммунистам, анархистам, нехристям и евреям!

— К вашему сведению, — сказал агент с холодным Торжеством, — я — еврей.

— Это только подтверждает то, что я сказал!

— То есть? — сказал агент.

— Евреи проникли всюду! — сказал Джонс, улыбаясь, как логик, которого никогда нельзя сбить с толку.

— Вы говорите о католиках и неграх, но один из ваших лучших друзей — католик, другой — негр.

— Что тут удивительного? — сказал Джонс.

— У вас нет к ним ненависти? — спросил агент ФБР.

— Конечно, нет. Мы все исповедуем одну основную истину.

— Какую же?

— Наша страна, которой мы когда-то гордились, сейчас оказалась не в тех руках, — сказал Джонс. Он кивнул, а вслед за ним отец Кили и Черный Фюрер. — И, чтобы она снова вернулась на путь истинный, кое-кому надо свернуть голову.

Я никогда не встречал такого наглядного примера тоталитарного мышления, мышления, которое можно уподобить системе шестеренок с беспорядочно отпиленными зубьями. Такая кривозубая мыслящая машина, приводимая в движение стандартными или нестандартными внутренними побуждениями, вращается толчками, с диким бессмысленным скрежетом, как какие-то адские часы с кукушкой.

Босс из ФБР ошибался, думая, что на шестернях в голове Джонса нет зубьев.

— Вы законченный псих, — сказал он.

Джонс не был законченным психом. Самое страшное в классическом тоталитарном мышлении то, что каждая из таких шестеренок, сколько

бы зубьев у нее ни было спилено, имеет участки с целыми зубьями, которые точно отлажены и безупречно обработаны.

Поэтому адские часы с кукушкой идут правильно в течение восьми минут и тридцати трех секунд, потом убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на четырнадцать минут, снова правильно идут шесть секунд, убегают на две секунды, правильно идут два часа и одну секунду, а затем убегают на год вперед.

Недостающие зубья — это простые очевидные истины, в большинстве случаев доступные и понятные даже десятилетнему ребенку. Умышленно отпилены некоторые зубья — система умышленно действует без некоторых очевидных кусков информации.

Вот почему такая противоречивая семейка, состоящая из Джонса, отца Кили, вицебундесфюрера Крапптауэра и Черного Фюрера, могла существовать в относительной гармонии…

Вот почему мой тесть мог совмещать безразличие к рабыням и любовь к голубой вазе…

Вот почему Рудольф Гессе, комендант Освенцима, мог чередовать по громкоговорителю произведения великих композиторов с вызовами

уборщиков трупов…

Вот почему нацистская Германия не чувствовала существенной разницы между цивилизацией и бешенством…

Так я ближе всего могу подойти к объяснению тех легионов, тех наций сумасшедших, которые я видел в свое время. И моя попытка такого механистического объяснения — это, наверное, отражение отца, сыном которого я был. И есть. Ведь если остановиться и подумать, что бывает не часто, я, в конце концов, сын инженера.

И поскольку меня некому похвалить, я похвалю себя сам — скажу, что я никогда не прикасался ни к одному зубу своей думающей машины, она такая, как есть. У нее не хватает зубьев, бог знает почему, — без некоторых я родился, и они уже никогда не вырастут. А другие сточились под влиянием превратностей Истории.

Но никогда я умышленно не ломал ни единого зуба на шестеренках моей думающей машины. Никогда я не говорил себе: «Я могу обойтись без этого факта».

Говард У. Кемпбэлл-младший поздравляет себя! В тебе еще есть жизнь, старина!

А где есть жизнь…

Там есть жизнь.

## Глава тридцать девятая.
## Рези Нот откланивается…

— Единственное, о чем я жалею, — сказал доктор Джонс боссу фебеэровцев на лестнице в подвал, — что у меня только одна жизнь, которую я могу отдать отечеству.

— Посмотрим, не удастся ли нам откопать еще что-нибудь, о чем вы будете жалеть, — сказал босс.

Теперь Железная Гвардия Сынов Американской Конституции толпой вываливалась из котельной. Некоторые из них были в истерике. Паранойя, которую родители годами вбивали в них, внезапно реализовалась. Вот теперь их действительно преследовали!

Один из парней вцепился в древко американского флага. Он так размахивал им, что орел на древке цеплялся за трубы под потолком.

— Это флаг вашей страны! — кричал он.

— Мы это уже знаем, — сказал босс. — Отберите у него флаг!

— Этот день войдет в историю, — сказал Джонс.

— Каждый день входит в историю, — сказал босс. — Ладно, где человек, называющий себя Джорджем Крафтом?

Крафт поднял руку. Он сделал это почти что весело.

— Это флаг и вашей страны? — сказал босс с издевкой.

— Мне нужно рассмотреть его повнимательнее, — сказал Крафт.

— Как чувствует себя человек, когда такая долгая и блестящая карьера приходит к концу? — спросил босс Крафта.

— Все карьеры когда-нибудь кончаются, — сказал Крафт. — Я это понял уже давно.

— Может, о вашей жизни сделают фильм, — сказал босс.

Крафт улыбнулся.

— Возможно. Я бы запросил немало денег за право снимать этот фильм.

— Есть только один актер, который действительно бы сыграть вашу роль, — сказал босс. — Но его будет нелегко заполучить.

— Да? — сказал Крафт. — Кто же это?

— Чарли Чаплин, — сказал босс. — Кто еще смог бы сыграть шпиона, который был постоянно пьян, с 1941 по 1948 год? Кто еще мог бы сыграть

русского шпиона, который создал агентуру, состоящую почти сплошь из американских шпионов?

Весь лоск сошел с Крафта, и он превратился в бледного морщинистого старика.

— Это неправда! — сказал он.

— Спросите ваше начальство, если не верите мне, — сказал босс.

— А они знают? — спросил Крафт.

— Они наконец поняли. Вы были на пути домой, а там вас ожидала пуля в затылок.

— Почему вы спасли меня?

— Считайте это сентиментальностью, — сказал босс.

Крафт обдумал ситуацию и укрылся за спасительной шизофренией.

— Все это не имеет ко мне отношения, — сказал он и вновь обрел свой прежний лоск.

— Почему?

— Потому, что я художник. И это главное мое дело.

— Непременно возьмите в тюрьму этюдник, — сказал босс и переключил внимание на Рези. — Вы, конечно, Рези Нот.

— Да, — сказала она.

— Доставило ли вам удовольствие ваше короткое пребывание в нашей стране?

— Какого ответа вы от меня ожидаете?

— Любого. Если у вас есть жалобы, я передам их в соответствующие инстанции. Знаете, мы пытаемся увеличить приток туристов из Европы.

— Вы говорите очень забавные вещи, — сказала она без тени улыбки. — Простите, я не могу ответить в том же духе. Сейчас не самое забавное время для меня.

— Жаль, — сказал босс небрежно.

— Вам не жаль, — сказала Рези. — Жаль только мне. Мне жаль, что мне незачем жить. Все, что у меня было, это любовь к одному человеку, а этот человек меня не любит. Жизнь его так поизносила, что он не может больше любить. От него ничего не осталось, кроме любопытства и пары глаз. Я не могу сказать вам ничего забавного, — сказала Рези. — Но я могу показать вам кое-что интересное.

Рези как будто прикоснулась пальцами к губам. На самом деле она сунула в рот капсулу с цианистым калием.

— Я покажу вам женщину, которая умирает за любовь.

И Рези Нот тут же упала мертвой мне на руки.

## Глава сороковая.
## Снова свобода…

Я был арестован вместе со всеми, кто находился в доме. Меня освободили в течение часа, я думаю, благодаря вмешательству Моей Звездно-Полосатой Крестной. Место, где меня содержали в течение этого короткого времени, была контора без вывески в Эмпайр Стейт Билдинг. Агент спустил меня на лифте и вывел на улицу, возвратив в поток жизни. Не успел я сделать и пятидесяти шагов, как остановился.

Я оцепенел.

Я оцепенел не от чувства вины. Я приучил себя никогда не испытывать чувства вины.

Я оцепенел не от страшного чувства потери. Я приучил себя ничего страстно не желать.

Я оцепенел не от ненависти к смерти. Я приучил себя рассматривать смерть как друга.

Я оцепенел не от разрывающего сердце возмущения несправедливостью. Я приучил себя к тому, что ожидать справедливых наград и наказаний так же бесполезно, как искать жемчужину в навозе.

Я оцепенел не от того, что я так не любим. Я приучил себя обходиться без любви.

Я оцепенел не от того, что Господь так жесток ко мне. Я приучил себя никогда ничего от Него не ждать.

Я оцепенел от того, что у меня не было никакой причины двигаться ни в каком направлении. То, что заставляло меня идти сквозь все эти мертвые бессмысленные годы, было любопытство.

Теперь даже оно угасло.

Как долго я стоял в оцепенении — не знаю. Чтобы я вновь начал двигаться, надо было, чтобы кто-то другой придумал для этого причину.

И этот кто-то нашелся. Полицейский на улице наблюдал за мной некоторое время, затем подошел и спросил:

— У вас все в порядке?

— Да, — сказал я.

— Вы стоите здесь уже давно.

— Знаю.

— Вы ждете кого-нибудь?

— Нет.

— Тогда лучше идите.

— Да, сэр.

И я пошел.

## Глава сорок первая. Химикалии…

От Эмпайр Стейт Билдинг я пошел к центру. Я шел пешком в Гринвич Вилледж, туда, где некогда был мой дом, наш с Рези и Крафтом дом.

Всю дорогу я курил сигареты и стал воображать себя светлячком.

Я встречал много других таких же светлячков. Иногда я первым подавал им приветственный красный сигнал, иногда они. Я все дальше и дальше уходил от подобного морскому прибою рокота и северного сияния огней сердца города.

Время было позднее. Теперь я ловил сигналы светлячков-сотоварищей, захваченных в ловушки верхних этажей.

Где-то, как наемный плакальщик, выла сирена.

Когда я наконец подошел к зданию, к своему дому, все окна были темны, кроме одного — окна в квартире молодого доктора Абрахама Эпштейна.

Он тоже был светлячком. Он просигналил, и я просигналил в ответ.

Где-то завели мотоцикл, будто разорвалась

хлопушка.

Черная кошка перебежала мне дорогу перед входной дверью.

В парадном тоже было темно. Выключатель был испорчен. Я зажег спичку и увидел, что все почтовые ящики взломаны.

В темноте в неверном свете спички погнутые и пробитые дверцы почтовых ящиков напоминали двери тюремных камер в каком-то сожженном городе. Моя спичка привлекла внимание дежурного полицейского. Он был молодой и унылый.

— Что вы тут делаете? — спросил он.

— Я здесь живу, это мой дом.

— У вас есть документы?

Я показал ему какой-то документ и сказал, что живу в мансарде.

— Так это из-за вас все эти неприятности? — Он не упрекал меня, ему было просто интересно.

— Если хотите.

— Удивляюсь, что вы вернулись сюда.

— Я скоро снова уйду.

— Я не могу приказать вам уйти. Я просто удивляюсь, что вы вернулись.

— Я могу подняться к себе?

— Это ваш дом. Никто не может вам запретить.

— Благодарю вас.

— Не благодарите меня. У нас свободная страна, и все одинаково находятся под защитой. — Он сказал это доброжелательно. Он давал мне урок гражданского права.

— Вот так и нужно управлять страной, — сказал я.

— Не знаю, смеетесь ли вы надо мной или нет, но это правда, — сказал полицейский.

— Я не смеюсь над вами, клянусь, что нет. — Мое клятвенное уверение удовлетворило его.

— Мой отец был убит на Иводзима.[13]

— Сочувствую.

— Полагаю, что там погибли хорошие люди и с той, и с другой стороны.

— Думаю, что правда.

— Думаете, будет еще одна? — Что — еще одна?

— Еще одна война.

— Да, — сказал я.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Разве это не ад?

— Вы нашли верное слово, — сказал я.

— Что может сделать один человек?

— Каждый делает какую-то малость, — сказал

---

**[13] Примечания: 13**

*Иводзима* — принадлежащий Японии остров в Восточно-Китайском море. В ходе второй мировой войны в 1945 году американцы высадили на остров десант и овладели им.

я. — Вот и все.

Он тяжело вздохнул.

— И все это складывается. Люди не понимают. — Он покачал головой. — Что люди должны делать?

— Подчиняться законам, — сказал я.

— Они не хотят даже и этого делать, половина, во всяком случае. Я такое вижу, люди такое мне рассказывают. Иногда я просто падаю духом.

— Это с каждым бывает, — сказал я.

— Я думаю, это частично от химии, — сказал он.

— Что — это?

— Плохое настроение. Разве не обнаружено, что это часто бывает из-за химических препаратов?

— Не знаю.

— Я об этом читал. Это одно из открытий.

— Очень интересно.

— Человеку дают какие-то химикалии, и он сходит с ума. Вот над чем они работают. Может быть, все из-за химии.

— Вполне возможно.

— Может быть, это разные химикалии, которые люди едят в разных странах, заставляют их в разное время действовать по-разному.

— Я никогда раньше об этом не думал, — ска-

зал я.

— Иначе почему люди так меняются? Мой брат был там, в Японии, и говорит, что японцы — приятнейшие люди, каких он когда-либо встречал, а ведь это японцы убили нашего отца! Вдумайтесь в это.

— Ладно.

— Это точно химикалии, верно ведь?

— Наверное, вы правы.

— Я уверен. Подумайте об этом хорошенько.

— Ладно.

— Я все время думаю о химикалиях. Иногда мне кажется, что мне снова надо пойти в школу и выяснить досконально все, что открыли насчет химикалиев.

— Думаю, вам так и надо поступить.

— Может быть, когда о химикалиях узнают еще больше — не будет ни полицейских, ни войн, ни сумасшедших домов, ни разводов, ни малолетних преступников, ни пьяниц, ни падших женщин, ничего такого.

— Это было бы прекрасно, — сказал я.

— Я думаю, это возможно.

— Я вам верю.

— На этом пути сейчас нет ничего невозможного, надо только работать — найти деньги, найти

самых способных людей, создать четкую программу — и работать.

— Я — за, — сказал я.

— Посмотрите, как некоторые женщины просто сходят с ума каждый месяц. Выделяются какие-то химические вещества, и женщина уже не может вести себя иначе. Иногда после родов начинает выделяться какое-то химическое вещество, и женщина даже может убить ребенка. Это случилось в одном из соседних домов как раз на прошлой неделе.

— Какой ужас, — сказал я. — Я и не слышал.

— Самое противоестественное, что может сделать женщина, это убить собственного ребенка, но она это сделала. Какая-то химия в крови заставила ее поступить так, хотя она вовсе этого не хотела.

— Гм… гм, — сказал я.

— Хотите знать, что случилось с миром, — сказал он. — Химия — вот в чем собака зарыта.

## Глава сорок вторая.
## Ни голубя, ни завета…

Я поднялся в свою крысиную мансарду вверх по отделанной дубом и грубой лепкой спирали лестницы.

Обычно воздух на лестнице сохранял тоскливые запахи кухни, угольной пыли, испарений клозета, а сейчас он был свежим и холодным. Все окна в моей мансарде были разбиты. Все теплые газы с запахами жилья поднялись по лестничной клетке наверх и высвистали через мои окна, как сквозь вентиляционную трубу.

Воздух был чист.

Это ощущение, когда провонявшее старое здание внезапно оказывается открытым и зараженная атмосфера очищается, было мне хорошо знакомо. Я достаточно часто испытывал это в Берлине. Нас с Хельгой дважды разбомбили. Оба раза лестница осталась, и можно было вскарабкаться наверх.

Первый раз мы карабкались по ступенькам в свое жилье без крыши и окон, но тем не менее чудом уцелевшее внутри. В другой раз, подни-

маясь по лестнице, мы внезапно оказались на холодном свежем воздухе двумя этажами ниже нашей бывшей квартиры.

Оба раза это было незабываемое ощущение — на верхней площадке разбитой лестницы под открытым небом.

Правда, это ощущение быстро пропадало, ведь, как всякая семья, мы любили наше жилье и нуждались в нем. Но все равно мы с Хельгой чувствовали себя, как Ной и его жена на горе Арарат.

Нет чувства приятней этого.

А затем снова начинали выть сирены воздушной тревоги, и мы осознавали, что мы обычные люди без голубя и без завета и что потоп далеко еще не кончился, а только начинается.

Я вспоминаю, как однажды мы с Хельгой спускались с разбитой лестничной площадки под открытым небом в бомбоубежище глубоко под землей, а наверху вокруг падали тяжелые бомбы. Они падали и падали, и казалось, это никогда не кончится.

И убежище было длинным и узким, как железнодорожный вагон, и было переполнено.

И там на скамье против нас с Хельгой сидели мужчина и женщина с тремя детьми. И женщина

начала причитать, обращаясь к потолку, к бомбам, самолетам, к небу и к самому Господу Богу там, наверху.

Она начала тихо, не обращаясь ни к кому в убежище.

— Ну хорошо, — говорила она, — вот мы тут. Мы тут внизу. Слышим тебя над нами. Мы слышим, как ты гневаешься. — Голос ее вдруг перешел в крик. — Великий Боже, как ты гневаешься! — кричала она.

Ее муж — изможденный штатский с повязкой на глазу, со значком нацистского Союза учителей на лацкане, попытался ее предостеречь.

Но она не слышала его.

— Чего ты хочешь от нас? — обращалась она к потолку и ко всему, что было над ним. — Что мы должны делать? Скажи, и мы сделаем все, что ты хочешь!

Бомба разорвалась совсем рядом, с потолка посыпалась штукатурка, женщина с криком вскочила, и ее муж тоже.

— Мы сдаемся! Сдаемся! — завопила она. И чувство великого облегчения и радости отразилось на ее лице. — Остановись же! — вскричала она. Она рассмеялась. — С нас хватит! Все кончилось! — Она повернулась к детям с радостной

вестью.

Муж ударил ее так, что она потеряла сознание.

Этот одноглазый учитель усадил ее на скамейку, прислонил к стене. Потом он обратился к находившемуся в убежище высокопоставленному лицу, как оказалось, вице-адмиралу.

— Она — женщина… истеричка, они все стали истеричками… Она так не думает… Она имеет Золотой орден материнства… — говорил он вице-адмиралу.

Вице-адмирал не удивился и не рассердился. Он не счел, что ему отвели неподходящую роль. Преисполненный чувства собственного достоинства, он дал этому человеку отпущение грехов.

— Все в порядке, — сказал он. — Это понятно. Не беспокойтесь.

Учитель пришел в восторг от системы, которая может простить слабость.

— Heil Hitler! — сказал он, кланяясь и пятясь назад.

— Heil Hitler! — ответил вице-адмирал.

Теперь учитель начал приводить в чувство жену. У него были хорошие вести — что она прощена, что все до одного поняли.

А тем временем бомбы падали и падали у них над головой, а трое детишек школьного учителя

и глазом не моргнули.

Они, подумалось мне, вообще никогда глазом не моргнут.

И я, подумалось мне, тоже.

Больше никогда.

## Глава сорок третья.
## Святой Георгий и дракон…

Дверь моей крысиной мансарды была сорвана с петель и исчезла. Вместо нее привратник прибил мою походную палатку, а поверх нее — доски крест-накрест. На досках золотой краской для батарей, блеснувшей в свете моей спички, он написал:

«Внутри никого и ничего».

Как бы то ни было, кто-то с тех пор отодрал нижний угол холстины, и у моей крысиной мансарды образовалась небольшая треугольная дверца вроде входа в вигвам.

Я пролез вовнутрь.

Выключатель в мансарде тоже не работал. Свет проникал сюда только через несколько оставшихся целыми оконных стекол. Разбитые стекла были заменены кусками газет, тряпками, одеждой и одеялами. Ночной ветер со свистом врывался через это рванье. Свет был каким-то синим.

Я выглянул через заднее окно около плиты, посмотрел вниз в уменьшенное перспективой

очарование маленького садика, маленького рая, образованного примыкающими друг к другу задними дворами. Никто там сейчас не играл.

И никто не мог закричать оттуда, как мне хотелось бы.

«Олле-Олле-бык-на воле-ееееее…»

Что-то зашевелилось, зашуршало в темноте мансарды. Я подумал, что это крыса.

Я ошибся.

Шорох исходил от Бернарда О'Хара, человека, взявшего меня в плен так много лет назад. Это шевелился мой злой рок, человек, главной целью которого было травить и преследовать меня.

Я не собираюсь порочить его, сравнивая звук, который он производил, со звуком, производимым крысой. Я не сравнивал О'Хара с крысой, хотя его действия были так же раздражающе неуместны, как ярость крыс, скребущихся в стенах моей мансарды. Я, в сущности, не знаю О'Хара и знать не хочу. Тот факт, что в плен в Германии взял меня именно он, имеет для меня субмикроскопическое значение. Он не был моим карающим мечом. Моя игра была кончена задолго до того, как О'Хара взял меня в плен. Для меня О'Хара был не более чем сборщиком мусора, развеянного ветром по дорогам войны.

О’Хара придерживался другой, более возвышенной точки зрения насчет того, кем мы были друг для друга. Во всяком случае, напившись, он вообразил себя Святым Георгием, а меня — драконом. Когда я увидел его в темноте моей мансарды, он сидел на перевернутом оцинкованном ведре. На нем была форма Американского легиона. Перед ним стояла бутылка виски. Он, очевидно, уже давно ожидал меня, прикладываясь к бутылке и покуривая. Он был пьян, но его форма была в полном порядке. Галстук был на месте, фуражка надета под должным углом. Форма много значила для него, и предполагалось, что для меня тоже.

— Знаешь, кто я? — сказал он.

— Да, — сказал я.

— Я уже не так молод, как тогда. Я здорово изменился?

— Нет, — ответил я. Я уже писал, что раньше он был похож на поджарого молодого волка. Теперь в моей мансарде он выглядел нездоровым, бледным, одутловатым, с воспаленными глазами. Я подумал, что теперь он больше похож на койота, чем на волка. Его послевоенные годы были не слишком лучезарными.

— Ждал меня? — сказал он.

— Вы же меня предупреждали, — сказал я. Мне

следовало вести себя с ним вежливо и осторожно. Я, конечно, ничего хорошего от него не ждал. То, что он был в полной форме, и то, что он ниже меня ростом и легче весом, наводило меня на мысль, что у него есть оружие, скорее всего пистолет.

Он неловко поднялся с ведра, и стало видно, насколько он пьян. При этом он опрокинул ведро.

Он ухмыльнулся.

— Являлся я тебе когда-нибудь в кошмарных снах, Кемпбэлл? — спросил он.

— Часто, — сказал я. Это была, конечно, ложь.

— Удивляешься, что я пришел один?

— Да.

— Многие хотели прийти со мной. Целая компания хотела приехать со мной из Бостона. А когда я прибыл в Нью-Йорк сегодня днем, пошел в бар и разговорился с незнакомыми людьми, они тоже захотели пойти со мной.

— Угу, — сказал я.

— А знаешь, что я им ответил?

— Нет.

— Я сказал им: «Извините, ребята, но эта встреча только для нас с Кемпбэллом. Так это должно быть — только мы двое, с глазу на глаз».

— Угу.

— «Эта встреча была предопределена давно», —

сказал я им, — сказал О'Хара. — «Сама судьба решила, что мы с Говардом Кемпбэллом должны встретиться через много лет». Ты не чувствуешь этого?

— Чего именно?

— Что это судьба. Мы должны были встретиться так, именно здесь, в этой комнате, и ни один из нас не мог этого избежать, как бы мы ни старались.

— Возможно, — сказал я.

— Как раз тогда, когда думаешь, что жить больше незачем, внезапно осознаешь, что у тебя есть цель.

— Я понимаю, что вы имеете в виду.

Он покачнулся, но удержался.

— Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?

— Нет.

— Я диспетчер грузовиков для замороженного крема.

— Простите? — сказал я.

— Целый парк грузовиков объезжает заводы, пляжи, стадионы — все места, где собирается народ. — О'Хара, казалось, на несколько секунд совсем забыл обо мне, мрачно размышляя о назначении грузовиков, которые он отправлял. — Машина, производящая крем, стоит прямо

на грузовике, — бормотал он. — Всего два сорта — шоколадный и ванильный. — Теперь он был в таком же состоянии, как бедная Рези, когда она рассказывала мне об ужасающей бессмысленности своей работы на сигаретной машине в Дрездене. — Когда кончилась война, я рассчитывал добиться многого и не думал, что через пятнадцать лет окажусь диспетчером грузовиков для замороженного крема.

— Я думаю, у каждого из нас были разочарования, — сказал я.

Он не ответил на эту слабую попытку братания. Его беспокоили только собственные дела.

— Я собирался стать врачом, юристом, писателем, архитектором, инженером, газетным репортером, — сказал он. — Я мог бы стать кем угодно.

Но я женился, и жена сразу начала рожать детей, и тогда мы с приятелем открыли чертово заведение по производству пеленок, но приятель удрал с деньгами, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, а когда и это дело прогорело, появился замороженный крем. А жена все продолжала рожать, и чертова машина ломалась, и нас осаждали кредиторы, и термиты кишмя кишели в плинтусах каждую весну

и осень.

— Как печально, — сказал я.

— И я спросил себя, — сказал О'Хара. — Что все это значит? Для чего я живу? В чем смысл всего этого?

— Правильные вопросы, — сказал я миролюбиво и пододвинулся ближе к тяжелым каминным щипцам.

— И тут кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты еще жив, — сказал О'Хара, и его снова охватило страшное возбуждение, которое вызвала в нем та заметка. — И вдруг меня осенило, зачем я живу и что в этой жизни я должен сделать.

Он шагнул ко мне, глаза его расширились.

— Вот я и пришел, Кемпбэлл, прямо из прошлого!

— Здравствуйте, — сказал я.

— Ты знаешь, что ты для меня, Кемпбэлл?

— Нет.

— Ты зло, зло в чистом виде.

— Благодарю.

— Ты прав, это почти комплимент, — сказал он. — Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее, в нем смешано почти поровну добро и зло. Но ты — чистейшее зло. Даже если в

тебе есть что-то хорошее, все равно ты — сущий дьявол.

— Может быть, я и в самом деле дьявол.

— Не сомневайся, я обдумал это.

— Ну и что же вы собираетесь со мной сделать?

— Разорвать тебя на куски, — сказал он, раскачиваясь на пятках и расправляя плечи. — Когда я услышал, что ты жив, я понял, что я должен сделать. Другого выхода нет. Это должно было кончиться так.

— Не понимаю, почему?

— Тогда, ей-богу, я тебе покажу, почему. Я тебе покажу, ей-богу. Я родился, чтобы разорвать тебя на куски как раз здесь и сейчас. — Он обозвал меня подлым трусом. Он обозвал меня нацистом. Затем он обругал меня самым непристойным словосочетанием в английском языке.

И тут я сломал ему каминными щипцами правую руку.

Это был единственный акт насилия, когда-либо совершенный в моей, кажущейся теперь такой долгой, долгой жизни. Я встретился с О'Хара в поединке и победил его. Победить его было просто. О'Хара был так одурманен выпивкой и фантазиями о торжестве добра над злом, что

даже не ожидал, что я буду защищаться. Когда он понял, что побит, что дракон намерен сразиться со Святым Георгием, он страшно удивился.

— Ах, вот ты как, — сказал он.

Но тут боль от множественного перелома окончательно доконала его нервы, и слезы брызнули у него из глаз.

— Убирайся, — сказал я. — Или ты хочешь, чтобы я сломал тебе другую руку и вдобавок проломил череп? — Я ткнул его щипцами в правый висок и сказал: — Прежде чем ты уйдешь, ты отдашь мне пистолет, нож или что там у тебя есть.

Он покачал головой. Боль была так ужасна, что он не мог говорить.

— У тебя нет оружия?

Он снова покачал головой.

— Честная борьба, — хрипло сказал он, — честная.

Я обшарил его карманы. У него не было оружия. Святой Георгий хотел взять дракона голыми руками!

— Ах ты, полоумный ничтожный пьяный однорукий сукин сын! — сказал я. Я сорвал тент с дверного проема, отодрал доски. Я вышвырнул О'Хара на площадку.

О'Хара наткнулся на перила и, потрясенный,

уставился вниз в лестничный пролет, вдоль манящей спирали, туда, где его ждала бы верная смерть.

— Я не твоя судьба и не дьявол, — сказал я. — Посмотри на себя. Пришел убить дьявола голыми руками, а теперь убираешься бесславно, как человек, сбитый междугородным автобусом! И большей славы ты не заслуживаешь. Это все, чего заслуживает каждый, кто вступает в борьбу с чистым злом, — продолжал я. — Есть достаточно много причин для борьбы, но нет причин безгранично ненавидеть, воображая, будто сам Господь Бог разделяет такую ненависть. Что есть зло? Это та большая часть каждого из нас, которая жаждет ненавидеть без предела, ненавидеть с Божьего благословения. Это та часть каждого из нас, которая находит любое уродство таким привлекательным. Это та часть слабоумного, которая с радостью унижает, причиняет страдания и развязывает войны, — сказал я.

От моих ли слов, от унижения ли, опьянения или от шока из-за перелома О'Хара вырвало, не знаю, но его вырвало. Содержимое его желудка изверглось с четвертого этажа в лестничный пролет.

— Убери за собой! — крикнул я.

Он взглянул на меня, глаза его все еще были полны концентрированной ненависти.

— Я еще доберусь до тебя, братец, — сказал он.

— Может быть, но это все равно не изменит твоего удела: банкротств, мороженого крема, кучи детишек, термитов и нищеты. И если ты так уж хочешь быть солдатом в легионах Господа Бога, вступи в Армию Спасения.

И О’Хара убрался.

## Глава сорок четвертая. «Кэм-буу»...

Общеизвестно, что арестанты, придя в себя, пытаются понять, как они попали в тюрьму. Теория, которую я предлагаю для себя по этому поводу, сводится к тому, что я попал в тюрьму, так как не смог перешагнуть или перепрыгнуть через человеческую блевотину. Я имею в виду блевотину Бернарда О'Хара в вестибюле у лестницы.

Я вышел из мансарды вскоре после ухода О'Хара. Ничто меня там не удерживало. Совершенно случайно я прихватил с собой сувенир. Выходя из мансарды, я ногой поддал что-то на лестничную площадку. Я поднял этот предмет, и он оказался шахматной пешкой, из тех, что я вырезал из палки от швабры.

Я положил ее в карман. Она и сейчас со мной. Когда я опускал ее в карман, то почувствовал вонь от нарушения общественного порядка, которое учинил О'Хара.

По мере того, как я спускался по лестнице, вонь усиливалась.

Когда я дошел до площадки, где жил молодой

доктор Абрахам Эпштейн, человек, который провел свое детство в Освенциме, вонь остановила меня.

И тут я понял, что стучусь в дверь доктора Эпштейна.

Доктор подошел к двери в халате и пижаме. Он очень удивился, увидев меня.

— В чем дело? — спросил он.

— Можно войти? — спросил я.

— По медицинскому делу? — спросил он. Дверь была на цепочке.

— Нет. По личному — политическому.

— Это очень срочно?

— Думаю, что да.

— Объясните вкратце, в чем дело?

— Я хочу попасть в Израиль, чтобы предстать перед судом.

— Что-что?

— Я хочу, чтобы меня судили за преступления против человечности, — сказал я. — Я хочу поехать туда. — Почему вы пришли ко мне?

— Я думаю, вы должны знать кого-нибудь — кого-нибудь, кого надо поставить в известность.

— Я не представитель Израиля, — сказал он. — Я американец. Завтра утром вы сможете найти всех тех израильтян, которые вам нужны.

— Я бы хотел сдаться человеку из Освенцима.

Он взбесился.

— Тогда ищите одного из тех, кто только и думает об Освенциме! Есть много таких, кто только о нем и думает. Я никогда о нем не думаю! — И он захлопнул дверь.

Я оцепенел, потерпев неудачу в достижении единственной цели, которую я смог себе придумать. Эпштейн был прав — утром я смогу найти израильтян.

Но надо было еще пережить целую ночь, а у меня уже не было сил двигаться. За дверью Эпштейн разговаривал со своей матерью. Они говорили по-немецки.

Я слышал только обрывки их разговора. Эпштейн рассказывал матери о том, что только что произошло.

Из того, что я услышал, меня поразило, как они произносят мою фамилию, поразило ее звучание.

«Кэм-буу», — повторяли они снова и снова. Это для них был Кемпбэлл.

Это было концентрированное зло, зло, которое воздействовало на миллионы, отвратительное существо, которое добрые люди хотели уничтожить, зарыть в землю…

«Кэм-буу».

Мать Эпштейна так разволновалась из-за Кэм-буу и того, что он затевает, что подошла к двери. Я уверен, что она не ожидала увидеть самого Кэм-буу. Она хотела только испытать отвращение и подивиться на воздух, который он только что вытеснил.

Она открыла дверь, а сын, стоящий сзади, уговаривал ее не делать этого. Она едва не потеряла сознание от вида самого Кэм-буу, Кэм-буу в состоянии каталепсии.

Эпштейн оттолкнул ее и вышел, как будто собираясь напасть на меня.

— Что вы тут делаете? Убирайтесь к черту отсюда! — сказал он.

Так как я не двигался, не отвечал, даже не мигал, даже, казалось, не дышал, он начал понимать, что я прежде всего нуждаюсь в медицинской помощи.

— О, Господи, — простонал он.

Как покорный робот, я позволил ему ввести себя в квартиру. Он привел меня в кухню и усадил там за белый столик.

— Вы слышите меня? — сказал он.

— Да, — ответил я.

— Вы знаете, кто я и где вы находитесь?

— Да.

— С вами такое уже бывало?

— Нет.

— Вам нужен психиатр, — сказал он. — Я не психиатр.

— Я уже сказал вам, что мне надо, — сказал я. — Позовите кого-нибудь, не психиатра. Позовите кого-нибудь, кто хочет предать меня суду.

Эпштейн и его мать, очень старая женщина, спорили, что со мной делать. Его мать сразу поняла причину моего болезненного состояния, поняла, что болен не я сам, а скорее весь мой мир болен.

— Ты не впервые видишь такие глаза, — сказала она своему сыну по-немецки, — и не впервые видишь человека, который не может двигаться, пока кто-то не скажет ему куда, который ждет, чтобы кто-то сказал ему, что делать дальше, который готов делать все, что ему скажут. Ты видел тысячи таких людей в Освенциме.

— Я не помню, — сказал Эпштейн натянуто.

— Хорошо, — сказала мать. — Тогда уж позволь мне помнить. Я могу вспомнить все. В любую минуту. И как одна из тех, кто помнит, я хочу сказать — надо сделать то, что он просит. Позови кого-нибудь.

— Кого я могу позвать? Я не сионист. Я антисионист. Да я даже не антисионист. Я просто никогда об этом не думаю. Я врач. Я не знаю никого, кто еще думает о возмездии. Я к ним испытываю только презрение. Уходите. Вы не туда пришли.

— Позови кого-нибудь, — повторила мать.

— Ты все еще хочешь возмездия? — спросил он ее.

— Да, — отвечала она.

Он подошел ко мне вплотную.

— И вы действительно хотите наказания?

— Я хочу, чтобы меня судили, — сказал я.

— Это все — игра, — сказал он в ярости от нас обоих. — Это ничего не доказывает.

— Позови кого-нибудь, — сказала мать.

Эпштейн поднял руки.

— Хорошо! Хорошо! Я позвоню Сэму. Я скажу ему, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда хотел быть великим сионистским героем.

Фамилии Сэма я так никогда и не узнал. Доктор Эпштейн позвонил ему из комнаты, а я и его старуха-мать оставались на кухне.

Его мать сидела за столом напротив меня и, положив руки на стол, изучала мое лицо с меланхолическим любопытством и удовлетворением.

— Они вывинтили все лампочки, — сказала она по-немецки.

— Что? — спросил я.

— Люди, которые ворвались в вашу квартиру, — они вывинтили все лампочки на лестнице.

— М… м…

— В Германии было то же.

— Простите?

— Они всегда это делали. Когда СС или гестапо приходили брать кого-нибудь, — сказала она.

— Я не понимаю, — сказал я.

— Даже когда в дом приходили люди, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, они всегда начинали с этого. Кто-то обязательно вывинтит лампочки. — Она покачала головой. — Казалось бы, странно, но они всегда это делают.

Доктор Эпштейн вернулся в кухню, отряхивая руки.

— Все в порядке, — сказал он. — Сейчас прибудут три героя: портной, часовщик и педиатр — все трое в восторге от роли израильских коммандос.

— Благодарю, — сказал я.

Эти трое пришли за мной минут через двадцать. У них не было оружия, и они не были официальными агентами Израиля или какой-нибудь другой страны, они были сами по себе. Их статус

определяла моя виновность и мое страстное желание сдаться кому-нибудь, все равно кому.

Так случилось, что этот арест обернулся для меня возможностью провести остаток ночи в постели в квартире портного. Наутро, с моего согласия, они передали меня официальным израильским представителям.

Когда эти трое пришли за мной к доктору Эпштейну, они громко постучали во входную дверь.

Услышав этот стук, я в момент совершенно успокоился.

Я был счастлив.

— Ну как, все в порядке? — спросил Эпштейн, прежде чем впустить их.

— Да, спасибо, доктор.

— Вы еще хотите ехать?

— Да, — ответил я.

— Он должен ехать, — сказала его мать. И тут она наклонилась ко мне через кухонный стол и пропела по-немецки нечто, прозвучавшее как кусочек полузабытой песенки из счастливого детства.

То, что она пропела, была команда, которую она слышала по громкоговорителю в Освенциме, — слышала годами много раз в день.

— Leichenträger zu Wache, — пропела она.

Прекрасный язык, не правда ли?
Перевод?
Уборщики трупов — на вахту.
Вот что спела мне эта старая женщина.

## Глава сорок пятая.
## Черепаха и заяц…

Итак, я здесь, в Израиле, по своей собственной воле, хоть моя камера заперта и находится под вооруженной охраной.

Мой рассказ окончен, и как раз вовремя — завтра начинается процесс. Заяц истории в очередной раз догнал черепаху литературы. Больше не будет времени писать. Приключения мои продолжаются.

Против меня будут свидетельствовать многие. За меня — никто.

Обвинение, как мне сказали, намерены начать с прослушивания записей наиболее страшных моих радиопередач, так что самым безжалостным свидетелем против меня буду я сам.

Бернард О'Хара приехал сюда за свой счет и надоедает обвинителю лихорадочной бессвязностью своих слов.

Так же ведет себя и Хейнц Шильдкнехт, некогда мой лучший друг и партнер по пинг-понгу, мотоцикл которого я украл. Мой адвокат говорит, что Хейнц полон злобы и, к моему удивлению, со-

бирается дать существенные показания. Откуда взялась эта респектабельность у Хейнца, ведь он работал за соседним со мной столом в министерстве пропаганды и народного просвещения?

Потрясающе: Хейнц — еврей, член антифашистского подполья во время войны, израильский агент после войны и до настоящего времени.

И он может это доказать.

Браво, Хейнц!

Доктор Лайонел Дж. Д. Джонс, Д. С. Х., Д. Б. и Иона Потапов, он же Джордж Крафт, не смогли прибыть на процесс, они оба отбывают сроки в Федеральной тюрьме Соединенных Штатов.

Однако они прислали письменные показания, данные под присягой.

Их показания не очень помогут, скорее наоборот. Доктор Джонс под присягой показал, что я святой и мученик за святое дело нацизма. Он также заявил, что у меня самые арийские зубы, какие он когда-либо видел, если не считать зубов на фотографиях Гитлера.

Крафт-Потапов показал под присягой, что русская разведка никогда не могла доказать, что я был американским агентом. Он выразил мнение, что я — ярый нацист, но не могу нести ответственности за свои поступки, ибо я политический

кретин, человек искусства, не способный отличить действительность от вымысла.

Те трое, которые взяли меня в квартире доктора Эпштейна — портной, часовщик и педиатр, — тоже участвуют в процессе, и проку от них не больше, чем от О'Хара.

Говард У. Кемпбэлл-младший, вот твоя жизнь!

Мой израильский адвокат, мистер Алвин Добровитц перевел сюда всю мою почту, без всяких оснований надеясь найти в ней какие-нибудь доказательства моей невиновности.

Ни черта.

Сегодня пришли три письма.

Я распечатаю их сейчас и по порядку расскажу их содержание.

Говорят, надежда вечно живет в человеческой душе. Она вечно живет, во всяком случае, в душе Добровитца, и потому, наверное, он так дорого мне обходится.

Чтобы выйти на свободу, мне необходимо хоть какое-нибудь доказательство существования Фрэнка Виртанена и того, что он сделал меня американским шпионом, считает Добровитц.

Ну, а теперь о сегодняшних письмах.

Первое начинается достаточно тепло: «Дорогой друг», — называют меня, несмотря на все при-

писываемые мне дьявольские деяния. Авторы письма предполагают, что я учитель. Мне кажется, я уже упоминал в одной из предыдущих глав, как мое имя попало в список предполагаемых работников на ниве просвещения, как я стал получателем корреспонденции, предназначенной для тех, кто занимается обучением молодежи. Это письмо было от фирмы «Творческие игры».

Дорогой друг (обращается фирма ко мне, сидящему в иерусалимской тюрьме), не хотите ли вы создать творческую атмосферу вашим ученикам у них дома? Очень важно, что происходит с ними вне школы. Ребенок находится под вашим наблюдением в среднем 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит 45 часов. Влияние родителей может усложнить или облегчить ваши усилия.

Мы полагаем, что игрушки, созданные компанией «Творческие игры», будут прекрасно стимулировать дома ту творческую атмосферу, которую вы как наставник пытаетесь пробудить в ваших маленьких воспитанниках.

Как «Творческие игры» могут это сделать?

Наши игрушки должны обеспечивать физические потребности растущих детей.

Эти игрушки помогают ребенку открывать и

разыгрывать разные жизненные ситуации дома и в обществе. Эти игры способствуют выражению индивидуальности, что затруднено при групповом воспитании в школе.

Эти игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности…

На что я ответил:

«Дорогие друзья! Как человек, имеющий большой опыт в индивидуальной и общественной жизни, и используя опыт реальных людей в реальных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие-либо игры могут подготовить ребенка даже на одну миллионную к тем зуботычинам, которые ждут его в жизни. Я убежден, что ребенок должен начинать знакомиться с реальными людьми и с реальным обществом по возможности с момента рождения. И только в случае, если по каким-то причинам это невозможно, стоит использовать игрушки.

Но не такие спокойные, приятные, приглаженные, простые в обращении, как в вашей брошюре, друзья. В этих игрушках не должно быть ничего гармоничного,

чтобы дети не выросли в ожидании спокойствия и порядка и не были потом съедены заживо.

Что касается подавления детской агрессивности, то я против этого. Им понадобится вся их агрессивность, которую они могут накопить, чтобы полностью высвободить ее во взрослом состоянии. Назовите хоть одного великого человека в истории, который бы не бурлил и не кипел в детстве, как котел с закрытым предохранительным клапаном.

Позвольте мне сказать, что дети, вверенные моему попечению в среднем 25 часов в неделю, вовсе не расслабляются за те 45 часов, которые они проводят с родителями. Они не играют в Ноев Ковчег с вырезанными из дерева животными, уж поверьте мне. Они все время шпионят за реальными взрослыми, пытаясь понять, за что они борются, чего они алчут и как они удовлетворяют свою алчность, почему и как они лгут, что сводит их с ума, каковы их безумства и так далее.

Не могу предсказать, в какой именно области эти мои воспитанники преуспе-

ют, но гарантирую им всем без исключения успех в любом цивилизованном обществе.

Ваш сторонник реалистической педагогики,

Говард У. Кемпбэлл-младший».

Второе письмо?

Оно тоже обращается к Говарду У. Кемпбэллу-младшему как к «Дорогому другу», доказывая, что по крайней мере двое из трех авторов сегодняшних писем не имеют никаких претензий к Говарду У. Кемпбэллу-младшему. Это письмо от биржевого маклера из Торонто, Канада. Оно взывает к моим капиталистическим чувствам.

Мне предлагается купить акции вольфрамовых рудников в Манитобе. Прежде чем я сделаю это, я должен более подробно познакомиться с этой компанией. В частности, я должен знать, что она имеет способных управляющих с хорошей репутацией.

Я ведь не вчера родился.

Третье письмо?

Оно адресовано прямо мне сюда, в тюрьму.

И это действительно любопытное письмо. Позвольте мне привести его целиком.

Дорогой Говард!

Порядок всей человеческой жизни рушится сейчас, как легендарные стены Иерихона. Кто же Иешуа и что за звуки издают его трубы? Хотел бы я знать. Музыка, которая произвела такие разрушения в таких старых стенах, негромкая. Она расплывчатая, тихая, необычная.

Это могла бы быть музыка моей совести. В этом я сомневаюсь.

Я не сделал вам ничего плохого.

Я думаю, что эта музыка, скорее всего, – непреодолимое желание бывшего солдата совершить небольшую измену. И измена – это письмо.

В этот момент я нарушаю прямые и точные приказы, которые были мне даны, даны в интересах Соединенных Штатов Америки.

Я заявляю, что я тот человек, которого вы знали как Фрэнка Виртанена, и сообщаю вам свое настоящее имя.

Мое имя Гарольд Дж. Спэрроу.

Я ушел в отставку из армии Соединенных Штатов в чине полковника. Мой личный номер 0–61134.

Я существую. Меня можно увидеть, услышать, потрогать почти каждый день внутри или возле единственного дома в Коггинс Понд, в шести милях к западу от Хинкливилла, штат Мэн.

Я подтверждаю и готов подтвердить под присягой, что завербовал вас как американского агента и что вы, ценой невероятных жертв, стали одним из наиболее полезных агентов второй мировой войны.

И если над Говардом У. Кемпбэлломмладшим состоится суд, затеваемый фарисействующими националистами, пусть это письмо будет решающим свидетелем.

Искренне ваш,

«Фрэнк».

Итак, я скоро снова буду свободным человеком и смогу отправляться куда захочу.

Эта перспектива вызывает у меня тошноту.

Я думаю, что сегодня ночью я должен повесить Говарда У. Кемпбэлла-младшего за преступления против самого себя.

Я знаю, что сегодня та самая ночь.

Говорят, что человек, которого вешают, слышит великолепную музыку. К сожалению, у меня, как и у моего отца, в отличие от моей музыкальной матери, совершенно нет слуха. Все-таки я надеюсь, что мелодия, которую я услышу, не будет «Белым Рождеством» Бинга Кросби.

Прощай, жестокий мир!

Auf Wiedersehen?